

Алексей Припуляк

Варнак



Все умрут, а я останусь... Постапокалипсис — мой любимый поджанр в фантастике.

Волна красной смерти прокатилась по стране и миру. Все, кто мог умереть — умерли. Кому написано было на роду выжить — живы. Всё?.. Нет. Смертельная болезнь — это не самое страшное. Куда страшнее сам человек будущего. Пастырь, вернувшийся в умирающий родной город, в надежде найти живыми жену и сына, и не думал, что ему придётся воевать. Да ещё воевать с...

Алексей Притуляк

Варнак

«Пионер — всем ребятам пример!»

1. Костёр

Смуглый однорукий цыган ни слова не произнёс, пока не развёл костёр и не вскипятил воду. Безостановочно бормоча что-то себе под нос по-цыгански, набросал в чёрный от копоти котелок каких-то трав, помешал вынудой из кармана алюминиевой, гнутой-перегнутой ложкой. А на вертеле, потрескивая, исходили жиром два голубя, и запах дичи ложился на тёплый ветер, убегаящий за холмы, уносящий поблёскивающую на солнце паутинку. Бабье лето дремотно поглядывало за тёмно синеющий горизонт.

— Угошайса, — наконец изрёк ром, тряхнув подбородком, заросшим седой курчавой бородой, указывая на голубей, которых снял с вертела на большой лист лопуха. — Соли нанэ [нет], так что.

— Угу, — благодарно кивнул Пастырь, деликатно берясь за тушку поменьше.

— Ай, гаджо, что ты, что ты! — возмутился цыган. — Ты гост мой.

И подсунул ему птицу покрупнее, пожирнее. Пастырь снова кивнул, двумя руками принял незатейливую снедь, хрустнул птичьим крылышком, выворачивая, чувствуя, как рот стремительно наполняется голодной слюной.

Цыган, несмотря на благородный возраст, был подтянут, широкоплеч, жилист, без грузности и сутулости своих, наверное, пятидесяти с большим гаком. Пастырь, хоть и не был худосочен, но рядом с этим кочевником чувствовал себя пареньком, не взирая на свои сорок четыре, на мощные крюковатые руки, на покатые плечи борца, на грозную приземистость и взгляд хищника, неморгающе остекленевший под тяжёлыми надбровными дугами. Впрочем, взгляд был обманчив — это, скорее, привычка, следствие тренировки и влияние определённой среды, а в душе хищником он не был. По крайней мере, любой, кто знал Пастыря долго и хорошо, рассмеялся бы, услышав так и просящееся на язык «прирождённый убийца». Какое там! Ну а тот, кто его не знал, когда сказали бы ему, где Пастырь провёл последние без малого три года жизни, хмыкнул бы: «А я что вам говорил! По роже-то сразу видать».

Достоинство не позволяло ему жадно наброситься на еду, он жевал нарочито неторопливо, лениво ворочая массивной квадратной челюстью. Если бы ещё желудок предательски не рокотал, радуясь проваливающейся в него скудной пище...

Вот теперь самое время поговорить. Совместное насыщение и довольство проголодавшихся желудков сближает, располагает к беседе, ясное дело же. Да и скрипа кишок за беседой будет не слышно.

— Давно ты тут? — спросил Пастырь, кивая за левое плечо, где покосился возле заросшей жухлым подорожником да полынью дороги оставленный когда-то кем-то строительный вагончик.

Цыган бросил на гостя хмурый взгляд, неопределённо покачал головой, обсасывая ножку.

— Один, что ли, живёшь? — не отставал Пастырь.

Кроме любопытства в вопросе присутствовала ещё и осторожность. Чёрт, ведь, его знает: может, вернутся сейчас с охоты дружки-рома [цыгане] и решат, что должен Пастырь расплатиться со стариком за гостеприимство, по счёту. А уж каков будет счёт...

— Сколько рук у мне, столько и мне, — подтвердил цыган.

— Как же ты управляешься?

Неопределённое пожатие плеч и короткий ответ:

— Хавэс. Ешь.

Пастырь замолчал, сосредоточился на голубе. А на чём там сосредоточишься: баловство одно, а не еда. Но и на том спасибо. Сам-то при двух руках, а гол как сокол.

Минут десять чавкали, поцвиркивали губами, обсасывая хилые голубиные косточки. Когда закончили, цыган разлил в алюминиевые кружки ароматный травник.

— Что в городе? — спросил Пастырь, кивнув за холмы, отхлебнув чай, терпко пахнущий ромашкой и смородиновым листом.

Цыган стрельнул быстрым взглядом в глаза, отозвался:

— Не хожу туда. А ты разве не местный?

— Был. Пока не сплыл.

— Моряк, значит?

— Ага, с печки бряк, — усмехнулся Пастырь. — Зэка я. С зоны подорвался, когда всё началось.

Цыган не удивился, не испугался. Или не понял, или уверен в себе, и всё ему до задней двери.

— Ну, варнак, значит, — качнул бородой безразлично.

— Живых-то много там? — поинтересовался Пастырь.

— Ест, — коротко ответил старик. — Лушше бы не был.

— Это что же так? — удивился Пастырь.

— Дявэл там. Не ходи туда, коли жив хочешь быт.

— Да? — задумчиво произнёс Пастырь, мелко прихлёбывая кипяток, поглядывая на хозяина. — А мне как раз туда и надо край.

— Оружие имеешь? — прищурился цыган.

Пастырь молча отвернул борт ветровки, показал сточенный приклад обреза, вложенного в специально пришитую к куртке петлю. Цыган поморщился, сплюнул.

— Тхуло [говно]. Пропадёшь. Автомат надо. И ватагу.

— Чем богаты, — пожал плечами Пастырь, запахнул куртку.

— Загибнешь, — констатировал старик. — Богом клянус.

Пастырь хмыкнул, посмотрел на притихшие холмы, на хмурующее стальным оттенком небо. Ветерок уже не ласкал игриво-шутливо, а напирал, становился деловитей, серьёзней — то взмётывал слабеющие огненные языки костра, то прижимал к траве. Солнце то и дело пряталось за набежавшие облака, норовило пробиться обратно, но облака кучились, закладывали небо и стелились ниже к земле, сближая небо и землю.

— Дошш будет, — пояснил цыган. — Скоро. Гроза.

— Ты где руку оставил? — любопытствовал Пастырь, выливая в костёр опивки с травяной гущей, посматривая на культу под левым рукавом цыганова пиджака.

— Там и оставил, — неохотно отозвался ром, цедя питьё. — В городе. Добро, что сам ушёл.

— Угу, — покивал гость. — Не страшно одному? Город-то рядом.

— Нет, — коротко ответил старик. — Чего боятса тому, у кого ништо нет.

— Жизнь есть.

— Нет жизни. Всё там осталос.

Пастырь не стал спрашивать. Цыган всё равно, кажется, не расположен к рассказам, а догадаться не сложно: вся его родня, видимо, осталась в городе. Сунулись, видать, туда

табором, да там их всех и положили. Такие нынче времена... Хотя, нет, времена были раньше, а теперь — моменты. От вчера до сегодня момент, от жизни до смерти момент. За те месяцы, что Пастырь добирался до Михайловска, нагляделся он на всякое. Смерть нынче гуляет повсюду, ходит, где хочет, чувствует себя вольно. Поветрие прошло, а смерть осталась. Казалось бы, чего ей ещё надо — разжирела за год, отъелась на миллионах человеческих жизней. Однако, нет — аппетит приходит во время еды, известно же. Ещё трупы, набросанные по земле заразой, не сгнили, не съелись червями и воронами, а на их место уже новые громоздятся. Вошла во вкус старая падальщица.

— На вечер не ходи туда, — сказал цыган. — Здес останса. Утром пойдёшь.

Пастырь налил себе ещё горячего травника, в задумчивости покачал головой.

— Полгода я сюда добирался, — ответил он. — Добрался вот. Сердце горит. Я, вот, с тобой сижу, а сердце горит. У меня же дом там. Жена была и сын.

— Полдня не решат дело, — настаивал старик. — Не ходи, говорю. Загибнешь. И нет там ни жены твоей, ни сына.

— А ты почём знаешь, ром?

— Знаю. Никого там нет. Кто от жаркой не сгорел, того убили. Кто убивает не хотел, того убили. Кто вовремя не ушёл — убили. Всех убили. Никого не найдёшь ты там. Смерть, разве что, найдёшь.

— Ладно, — отмахнулся Пастырь. — Тебя как зовут-то?

— Михаем звали.

— Ну а я — Пастырь. В смысле, Пётр. Был... Пётр был, Пастырь был... Теперь — варнак. Вот же жизнь, туда её в заднюю дверь...

2. За жизнь

Для Пастыря (это в зоне, а в миру — Петра Сергеевича Шеина) началось всё в марте когда свалился вдруг с вышки караульный. Хлопнулся кулем на почернелый ноздреватый снег, разметав брызги первых лужиц, и застыл в нелепой позе, обмочив напоследок штаны, завернув голову на сломанной шее чуть ли не к спине, словно прислушиваясь к чириканью разгулявшихся, почуявших весну воробьёв. Что сразу тогда бросилось в глаза — был он весь красный. Вся кожа, что на виду, была красной, даже алой, как после хорошего ожога. Тогда уже месяц как шли разговоры об эпидемии, зона сидела на карантине, и тот солдатик стал первой ласточкой, после которой даже на прогулки выводили маленькими партиями, и совсем никаких свиданий.

Мобильной связи в той глухомани не было, письма с воли стали приходить гораздо реже, и в те редкие разы, когда они всё же приходили, воняло от них хлоркой и чёрт знает какой ещё медицинской гадостью, а выцветшие буквы едва удавалось прочесть. И был в тех письмах только надрыв и ужас, так что тревога, сначала вялотекущая, за отсутствием ясных новостей очень быстро переросла в паранойю, хотя — *позавидовать*, пожалуй, можно было зэкам, которых спасала от неизвестной болезни изоляция. Впрочем, недолго спасала.

После того первого случая прошло не больше недели до того дня, когда красная смерть дорвалась и до зэка, пробравшись в камеру Гриши Хохла и в два дня окрасив малиновым всех её обитателей. Ещё через пару недель от служивых, наверное, почти никого не оставалось, потому что на прогулки выводить перестали, кормили говном каким-то, и одно название только, что кормили — кое-как с голоду умереть не давали. Количество зэков тоже заметно поуменьшилось.

Пошли тогда по камерам нехорошие базары, что, мол, принято решение зэка уничтожать, потому что сил для их содержания уже не хватает, что вызван из области отряд спецназа для обеспечения пересортировки заключённых и отстрела тех, которым амнистия не грозит. Пастырь мог быть спокоен: за тяжкий вред здоровью, который он *не* причинил тому ублюдку, оставалось ему сидеть четыре месяца и четырнадцать дней, однако общее волнение зацепило и его душу, заставив тревожиться и в тот день, когда поднялась буча, приложить к ней свою руку.

Потом был долгий путь по вымершей — где больше, где меньше — земле, напоминающий дорогу в ад или по миру, в который пришел Антихрист. Людей приходилось сторониться, и не потому, что беглый, а потому что кругом была смерть, каждый встречный был зеркалом, в котором отразился её оскал, каждый из них мог стать твоей погибелью. Пастырь заматывал лицо рубахой, с рук не снимал медицинских перчаток, не подпускал к себе никого — ни мужика, ни женщину, ни ребёнка; не подходил к умирающим, не обращал внимания на призывы о помощи, лишней раз не касался ничего, что могло бы нести на себе прикосновения других людей.

Первое время было проще: часто попадались бесхозные брошенные машины, кое-где еще ходили электрички и автобусы, сохраняя видимость привычной жизни и порядка. За всю свою жизнь он никогда не ездил столько на велосипеде, сколько за эти месяцы.

Потом всё как-то разом рухнуло. После полутора лет с момента первых известий о новой смертельной инфекции страна сломалась, сдалась перед болезнью, как сдаётся, не выдержав, организм, и забилась в агонии. Паника, бандитизм, пожары, мародёры и

дезертиры, лихорадочные слухи о начинающейся войне с Китаем и Америкой, в которых эпидемия уже, якобы, усмирена, ожидание ядерного удара, и довольная приплясывающая смерть на каждом шагу. Через всё это он пробирался, сжав зубы, дыша через раз, вечно полуголодный, закрывая глаза на происходящее и отмахиваясь от леденящих кровь мыслей о том, что всё кончено, что прежняя жизнь ушла и никогда не вернется. И не утешали доводы, что бывали уже в мире эпидемии, косившие целые народы, и — ничего, выжил род людской. Уж больно похоже было, что на этот раз нет у рода людского никаких шансов.

Но он шёл и шёл вперёд.

Его целью было добраться до Михайловска, на другой конец обожаемой родины, где оставались Ленка и Вадька.

Добрался.

3. За смерть

Цыган слушал молча, ни разу не перебил, только смотрел в угасающий огонь костра, покуривал трубку, набитую зловонным самосадам, сплёвывал да кашлял.

— Зря всё, — изрёк он минут через пять тишины, в которой только угли потрескивали, да ветер шумел всё явственней, призывая грозу. — Никого в городе не осталось. Немногие успели уехать, никто пошти не успел. Видел бы ты, что тут творилос... Люди будто с ума сошли напоследок, богом клянус.

— Как и везде, — пожал плечами Пастырь.

— Про везде не знаю. Мы из Дёсново сюда пришли. Думали, город малый, тихий, отсидимса поблиз, пока всё не успокоитса. А тут эти... Рогатых [ментов] перебили, свои порядки давай ставит. Убивали всех подряд. Покраснел от жары — умер, ноги заплетаются усталости — умер, не то слово сказал — умер, жену не отдаёшь — умер... Умер, умер, умер...

— Кто — *эти*?

— Бандиты. Сброд. От них люди больше умерли, чем от жаркой. Они тут долго заправляли, а потом ушли. Сожрали всё, что было, разграбили, что было и — ушли.

— Так значит, в городе их нет сейчас?

— Тех — нет. Другие ест. Ещё хуже. Они, наверно, всех добили, кто ешшо оставалса. У меня всех забрали. Руку мою забрали. Они людей жрут.

— Чего?

— Да, гаджо, да, я тебе тошно говорю. Собак уже всех, поди, пережрали, кошек. Людми не гнушаются. Из людей если в городе кто и осталса, то сидят по чердакам да подвалам и носа не кажут. А эти — они на вокзале обосновалис. К себе не пускают никого; если появилса поблиз, то сразу стреляют. В город ходят на охоту только. Раньше днём ходили, а шшас поняли, что те, кто прячутса в погребам, на ночь выходят, так стали по ночам ход *ит*. Городские, кто посмелей, постреливают в них иногда, но только люди, сам знаешь, договариватса не умеют. Каждый про себя. А эта шалда — все как один.

— Откуда ж они взялись?

— А кто их знает, гаджо. Целой ватагой явилис откуда-то. Их пионерами зовут.

— Как-как? Пионерами?.. Почему?

— Так у них самому старшему семнадцат, что ли. Они, говорят, из пионерско лагеря, из Сосновки пришли. Так что тебе в город не надо. А если пойдешь, то с Малой Северной нужно зайти, в обход вокзала.

— Пионеры, говоришь... — Пастырь задумчиво поворошил носком ботинка угли. — Пионеры... Пионер — всем ребятам пример... И в них постреливают, говоришь? Они ж — дети.

— Какие дети! Дявэл! Людей жарят-варят. Им убит тебя, что клопа раздавит. Они — смерть. И ладно бы просто убивали и жрали. Они же сначала издеватса любят.

— А ты не врёшь, ром? — недоверчиво покосился на цыгана Пастырь. — Может, ты нахваталса слухов по погребам, а теперь мне пересказываешь?

— Я мог бы тебя убит шшас, — глухо прохрипел цыган, едва, наверное, сдерживая ярость. — Но костёр ишшо не погас. Дав тукэ дума [говорю тебе]... Они Лялю мою... у мне на глазах...

— Да?.. Ну, извиняй.

Повисшее над угасающим костром молчание было тяжёлым, под стать наползающим из-за холмов свинцовым тучам. Ветер теперь налетал порывами, норовил засыпать горячим пеплом костра глаза, посвистывал в тополях, по-октябрьски жёлто и уныло нависающих над дорогой. Где-то на севере, за холмами, за рощей, за городом, на окраинах, погромыхивало; скользили по небу зигзагами оголённых нервов дальние молнии.

— Уходит надо, — произнёс цыган, впервые за последний час посмотрев Пастырю в глаза. — Спат до утра. Не сможешь ты шшас в город идти, варнак.

— Угу, — неохотно отозвался тот. — Ты отомстить пионерам не пробовал?

Лицо Михая вспыхнуло ярче угольев. Видать, Пастырь зацепил больной нерв, который терзал внешне спокойного до отчуждённости цыгана. Конечно, как же: месть сладка, кровь цыганская — не водица... Да только где ему, одинокому и однорукому. А с другой стороны... Дети же!

— Извиняй ещё раз, — Пастырь отвёл глаза от лица цыгана. — Не подумал.

Гнусная ситуация. Если правду говорит цыган, что в банде одни малолетки, то как же... как же с ними воевать-то. А с другой стороны, если они звери... Времена нынче такие, что не на возраст, наверное, нужно смотреть, а по делам судить. Судить, приговаривать и приводить в исполнение. И списывать всё на времена, выскабливая из души грязь. Нет, реально гнусная ситуёвина...

— Шшас польёт, — сказал цыган, успокаиваясь, но голос его ещё подрагивал от ярости и обиды. — Хайда в дом.

Дом... Зелёный, обшарпанный, битый временем строительный вагончик, невесть как попавший на старую дорогу, перекосившийся от того, что пара колёс по одной стороне лишена покрышек (пошли, наверное, в костёр в какой-нибудь из холодных февральских дней). Внутри больничная кушетка вместо кровати, столик, спёртый, наверное, в какой-нибудь заброшенной кафешке, два табурета, керосиновая лампа, гитара на стене, поленица и запах. Запах летней кухни на даче — тот самый, что не давал покоя на зоне, возникая, вдруг, памятью в носу, посреди барачной кислой вони.

За мутным маленьким окошком, в которое билась тупо и безнадёжно одинокая толстая муха, быстро потемнело. Ветер трепал тополя, дёргал их за космы, как строгий отец провинившуюся шпану, поднимал пыльные буруны, взмётывал выше деревьев отсохшую траву да притащенные откуда-то клочья грязной бумаги и полиэтиленовый мешок. Гром вдруг ударил так, что оконце задрезжалось; скользнула сверху, разбегаясь по небу, извивающаяся молния, забарабанила по ржавому железу на крыше первые крупные капли. Тревожный, влажный и прелый запах грозы проник в вагончик, загнал муху куда-то в угол, где она и притихла.

— Лачо бришин [добрый дождь], — пробормотал цыган, присаживаясь на табурет, поглядывая в окно. — Хорошие времена возвращаются, гаджо. Понимаешь? Земля становится чище. Хорошие добрые дожди приходят. Смывают грязь от людей. Вон как пахнет... как давно-давно, в детстве.

— Нашёл чему радоваться, — проворчал Пастырь, опускаясь на другой табурет, тоже посматривая в окно, за которым уже всю разгулялась гроза.

Ливанул дождь, встал стеной, отрезав вагончик от остального мира. Казалось и правда: умерло всё кругом, остались они в мире вдвоём. Нет, втроём: они и дождь. Шумело так, что голосов было почти не слышно. С небольшими промежутками ухал и трещал гром,

раскатываясь по небу, как просыпанный господом тяжеленный горох.

— Я радуюсь, да, — тихо произнёс Михай после нескольких минут молчания. — Что мне ещё остаётся.

Наверное, да — оmyвается потихоньку земля от грязи. Страна вымерла, заводы стоят, упираясь в небо пустыми остывшими трубами, стоят машины — брошенные, ржавеющие тут и там. Но долго ещё мыться ей придётся, земле, охорашиваться, соскабливать с себя грязь, чистить пёрышки. Уж сколько успело человечество нагадить — нескоро стряхнёт она с себя всё это дерьмо.

Завоняло самосадам — цыган раскурил свою гнутую деревянную трубку, пыхтящую и сипящую. Синий дым окутал его кудрявую голову, скрывая седину, стлался над серым полусгнившим полом, над столом, прижимался к оконному стеклу.

Пастырь не выдержал:

— Дай затянуться, а?

Он не курил уже месяца три-четыре. И не хотелось как-то. Но в густой вони самосада было что-то такое дремучее, древнее, забытое, зовущее из далёкого детства... Пастырь, сглатывая обильно набежавшую слюну, потянулся к трубке, но цыган отклонился, выставил навстречу локоть.

— Трубку, саблю и жену... — проворчал он, стрельнув в гостя быстрым взглядом. — Знаешь? Вон там, на полке, газеты ест. Отсыплю табаку на цибарку.

4. Аист на крыше

Он проснулся засветло. Сразу поднял к глазам запястье, посмотрел на часы: половина седьмого. Привычка просыпаться в это время выработалась, засела так глубоко, что на часы уже можно и не смотреть.

А Михай встал ещё раньше — в открытую дверь вместе с прохладным мятным запахом мокрой земли (дождь шумел всю ночь и затих уже где-то к рассвету) втягивало смолистый дымок от костра.

Пастырь вскочил с больничного лежака, выгнулся в потяге, подышал, вентилируя лёгкие. Выскочив из вагончика прочавкал ботинками по грязи до ближайшей лужи; присев, ополоснул холодной и пахучей водой лицо. Михай сидел у костра, не глядя на гостя, курил неизменную трубку. В котелке, подвешенном над огнём, бурлило какое-то варево.

— Утро доброе, — улыбнулся Пастырь, утирая краем ветровки лицо.

— Может и доброе, — кивнул цыган, выпуская клуб дыма. — Не знаю ешшо. Шшас будем ест.

Пока, сидя на промокших за ночь ящиках, хлебали варево (крапива, наверное, корешки какие-то, перловка, картошка), Пастырь исподтишка разглядывал цыгана, а тот молча и неторопливо хлебал, с ничего не выражающим лицом, изредка утирал губы тылом кисти, сосредоточенно пережевывал чуть недоваренную крупу, уставясь в костёр.

По всему видать, неплохой мужик, хоть и цыган. Плохо ему, тоскливо. А кому сейчас хорошо.

— Не боишься, что придут из города? — спросил Пастырь, выпив остатки похлёбки. — Недалеко ведь.

— Не боюсь, — равнодушно ответил цыган.

Ну да, вчера ведь спрашивал уже...

— Они за город не ходят, — пояснил Михай. — Чего им тут делат. Один раз только видел их на картофельных полях, в посёлке.

— Ну и?.. Шпана?

— Как ест шпана.

— Хм... Дела...

— Они грамотные, — кивнул цыган. — Часовых ставят. Ходят строем. Оружие у них.

Всё это очень походило на правду. Да и зачем бы старому Михаю врать. Но Пастырь никак не мог побороть в себе чувство недоверия. Чтобы какая-то шпана держала в страхе целый город!.. Хоть и мёртвый, но всё же — город.

— Много их? — спросил он.

— Не знаю, — цыган протянул ему кружку с травником. — Я когда их видел на поле, было одиннадцат. Но их больше. Думаю, много больше. Раз видел их на вокзале. Пьяные. Или укуренные. Двух малых стреляли.

— Как это?

— Да как... Обышно. Поставили их к стене. Старшой говорил что-то — видат, приговор. Потом расстреляли. У них там дисциплина. Построже, чем в армии, видат... Потом съели, наверно.

Пастырь сплюнул в огонь мятный листочек, налипший на язык.

То, что рассказывал его гостеприимный хозяин, не укладывалось в голове. А цыган

продолжал:

— У них и форма своя. На головах повязки у всех. Татуировки на руках одинаковые. Даже у девчонок.

Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, играют в «Зарницу». Заигрались, похоже, слегка. Чересчур заигрались, однако, если правда всё, что цыган рассказывает. Ну, насчёт того, что они человечину едят — это, наверное, перебор таки. Хотя, чёрт его знает. Есть-то им надо что-то.

С востока попыталось пробиться солнце, но иссиня-серая пелена, в которую зябко ещё куталось хмурое небо, не позволила, так что жёлтый луч скользнул по траве неясным бликом и растворился в последождевой влажной туманности.

Допили чай в молчании. Цыган неторопясь забил трубку, раскурил, пыхая зловонными синими клубами. Пастырю вспомнился вчерашний гадкий вкус самокрутки. Он сплюнул: видать, откурил ты своё, брателло.

Вернувшись в вагончик, взял из-под подушки обрез, нацепил ремень, на котором болтались штык-нож да поношенная сумочка, набитая патронами. Забросил на плечо чахлый рюкзак: пара шмоток, потрёпанная библия, порох, пыжи, дробь, резиновые перчатки, два респиратора, бинокль, фонарик... Вышел. Михай так и сидел у костра, дымил над новой кружкой чая.

— Уходишь? — спросил равнодушно, бросив быстрый взгляд.

— Пора, — кивнул Пастырь. — Спасибо тебе за гостеприимство, ром.

— Ништо, — отмахнулся тот. — Цыганский костёр всем светит. Жив будешь, приходи.

— Приду. Спасибо ещё раз.

— Шшасливый буд. Бахтало дром тукэ [доброй дороги тебе]. Осторожно там.

Пастырь постоял ещё минуту, собираясь с духом, потом кивнул и, не оглядываясь двинулся к холмам, по мокрой траве, разрывая собой вялые и тонкие клочья тумана. Оглянулся только когда поднялся на вершину холма.

Догорал костёр. Возле него скрючился на деревянном ящике одинокий силуэт, напоминавший нахохлившуюся птицу со странным изогнутым клювом — Михай не выпускал из зубов трубку.

Впереди, за недалёкой рощей, кое-как виднелся в застилающем поля тумане посёлок Благодравное. Это там, наверное, встретил Михай «пионеров». Ещё дальше, километрах в трёх от холма, на котором стоял Пастырь, различались пригороды. Где-то там, чуть правее, расположился вокзал.

Если заходить в город с Малой Северной, как советовал цыган, это нужно сделать крюк вокруг Благодравного, обходя город слева, где рассыпались в стороне от дороги избушки садово-огородного общества и где расположился на месте бывшей Михайловки частный сектор пригорода славный некогда своими садами и бандюками, вышедшими из этого пьяного и шумного района. Городок небольшой, так что до центра, где был его дом, Пастырю пришлось бы накрутить всего-то пару-тройку километров лишних. Но крутить их не хотелось. Он и так полночи не спал, возбуждённый скорой... чем? Встречей?.. Ох, дай-то бог, чтобы так, но верится в это слабо. Ленка не осталась бы в этом городе, если жива. Всё сделала бы, чтобы увезти сына куда подальше, хоть на Кубань, к матери, хоть на север, к сестре. Понятно, что смысла в этом не было бы никакого, но ведь баба... одна, в панике, когда кругом смерть...

Он вздохнул, пошагал вниз, по главной дороге, не глядя на поворот к Благодравному.

Только теперь, медленно приближаясь к цели своего долгого пути, он со всей остротой почувствовал, сколь эфемерна его надежда найти своих. Прав цыган: нет их здесь. Что им делать в мертвом городе, если живы. Живы ли?.. Господи, господи! только бы живы! Коли живы, сыщутся всё равно, рано или поздно.

В низине туман сгущался, от рощи остро пахло прелой листвой, размеренно высвистывали птахи. Птицам-то хоть бы хны. Зверям тоже. Люди повымерли, а живность здравствует и размножается. Скоро снова наполнятся леса зверьём. Прав цыган: у земли образовалась небольшая передышка, пока человечество на последнем издыхании цепляется за жизнь. А если не выдержит и вымрет, как динозавры в своё время, так ей, земле, и вообще лафа будет. И даже если не вымрет, то всё равно: пока это люди смогут приняться за старое, пока это они снова заплodyт свою усталую планету... Отдыхай, матушка, отдыхай — имеешь право.

Через полчаса показалось впереди и слева Благодравное. Даже отсюда, с центральной дороги, видно было, что огороды заросли бурьяном, дома брошены и с виду сразу отличаются от жилых: есть в них какая-то безысходная тоска и зыбкая пустота, скорее ощутимая, чем зримая. Не слышать ни собачьего перебреха, ни петухов; не видеть коров, которые всегда чинно, как великосветские дамы, возлежали или паслись в ближней пади, лениво пережевывая свою жвачку да гоняя хвостами мух. Не слышно тракторов, не дымит труба кочегарки на окраине, возле низкорослых приплюснутых строений овощной базы, больше похожей сейчас на брошенное гнездо какой-то огромной птицы. Запустение. А ведь казалось бы, в селе-то шансов выжить больше, чем в городе, потому что нет городской скученности, зато есть огород, который не даст помереть с голоду.

Впереди виднелись немногочисленные дома пригорода. Дальше виден уже был старый центр с его кинотеатром, где на фронте мужик и баба. Мужик протягивает охапку колосьев, баба в косынке держит корзину фруктов. Наоборот бы надо: корзина-то потяжелее будет, чем колосья.

Ещё чуть дальше и правей бывший (давно когда-то) парк культуры и отдыха, а в последний десяток лет — буйно и густо заросший пустырь. Дальше, правей, спортивная школа, ещё правей музыкальная школа, ещё вправо, за вторым микрорайоном — вокзал.

Цыган говорил, что детки эти явились из пионерлагеря... Ну да, есть такой, километров сорок на запад, за Сосновкой. Он, конечно, не пионерский давно, а какой-то там лагерь отдыха и развития молодёжи, но в городе его всегда называли по старинке. Ленка писала, что собиралась отправить в него Вадьку на лето, — сбуть пацана с рук, отдохнуть от него немного, — но что денег у неё может не хватить. Хоть бы не хватило! Ведь если Вадька был в лагере, то... Не дай бог!

Вон, уже видно за пятиэтажками зелёное приземистое здание вокзала с белой крышей. С флюгером. Видно мост, ведущий через пути в Ленинский район.

Подожди, какой флюгер-то... На вокзале сроду не было никакого флюгера.

Пастырь остановился, принялся всматриваться в далёкую крышу, до рези в глазах, до слезы. Быстро смахнул слезу, снова уставился на крышу. Флюгер исчез. Нет, он просто уменьшился... На крыше — человек, ясно же. И если Пастырь видит его отсюда, то и он с крыши отлично видит Пастыря, если смотрит сейчас в эту сторону.

Он сбросил с плеча рюкзак, растянул постромки, достал бинокль, упрятанный в самодельный брезентовый кофух. Бинокль был не ахти, но и расстояние до вокзала не велико, так что Пастырь очень даже неплохо мог рассмотреть присевшего на

вентиляционную трубу юнца. Пацан лет шестнадцати (где тут разглядишь, но точно не взрослый мужик) в джинсах и просторной мешковатой куртке смотрел на город в оптический прицел винтаря. Смотрел он на северную сторону, так что Пастыря видеть пока не мог.

— Ничего так пионер! — присвистнул Пастырь, опускаясь взглядом по зданию ниже, но там не видать было ничего за крышами пятиэтажек. — Весело, весело... — добавил он, убирая бинокль от глаз, вешая на шею — теперь он постоянно должен быть под рукой.

Неизвестно, конечно, что за винтовка была у пионера, но Пастырь чувствовал себя сейчас весьма неуютно — на дороге, посреди поля, открытого всем ветрам. До переезда, до первых домов Репейной, с которой начинался в этой стороне город, ещё минут двадцать самым быстрым шагом. Сомнительно, конечно, что пацан на крыше вокзала может быть настоящим хорошим снайпером с настоящей снайперской винтовкой, но чем чёрт не шутит. Станет он стрелять не станет, попадёт, не попадёт, а лучше убраться от греха.

— Серьёзно у вас тут всё, ребята, — пробормотал он себе под нос, прибавляя шагу, невольно ссутулившись, в желании срастись, слиться с землёй, стать маленьким и незаметным.

«Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле» — тихонько напевал он, медленно переходя на торопливую трусцу.

5. Ну, здравствуй, дом!

Репейная, всегда кое-как, наспех, заасфальтированная, всегда изрядно разбитая, уже заметно поросла травой, как и идущий по сторонам узенький тротуар. Разлившаяся над улицей прохладно-серая тишина, упавшая с хмурого неба, воспринималась теперь, в городе, совсем не так, как в поле. В этой безжизненной глухой тишине было что-то мрачное и жуткое, и не спасало пение птиц, которые, наверное, давно уже чувствовали себя в городе так же, как и в роще. В выбоинах асфальта стояли на удивление чистые лужи — ни тебе радужной масляной плёнки, ни грязи, то и дело поднимаемой со дна колёсами.

Первый же встреченный магазинчик — так себе, забегаловка — оказался раздолбанным и разграбленным, как и пивнушка десятью метрами далее. Окна выбиты, двери раскурочены, внутри — пустота и хаос. Стекла в окнах первых этажей домов тоже по большей части выбиты, и их запылённые брызги, разбросанные по асфальту, уныло отражают в себе тяжелое небо.

Пока он дошёл до Лермонтова, ему попались семь трупов различной степени разложения. Это, видать, уже из последних, которых уже некому было убирать. Пастырь обходил их по широкой дуге; теперь на лице его топорщился уродливым намордником тёмно-зеленый респиратор, а к быстро вспотевшим рукам прилипли резиновые перчатки.

Лермонтова имела более цивилизованный вид — это, поди ж ты, уже не задворки, это уже почти центр, хе-хе. До Маркса, на которой он жил, три остановки, двадцать минут хорошим шагом, но хорошего шага сейчас не разовьёшь — боязно. Бояться было нечего, это Пастырь понимал, он был в этом почти уверен, но вид мёртвого города, его пустынных, заросших бурьяном, улиц, его неживых домов с черными глазницами там и тут выбитых окон, его мёртвая тишина давили на психику, заставляли дышать настороженно и прерывисто, шнырять взглядом по сторонам, жаться к стенам и прислушиваться. Поди знай, мёртв ли он или ещё бьётся в агонии, как раненый зверь, который может и укусить. Как ни мало хотелось верить цыгану, который, наверное, в городе не появлялся уже давным давно, но предупреждение его сидело в голове и исподволь дёргало нервы.

Вывернув на Лермонтова, он не выдержал — достал обрез, потянул курки. Ну его к чёрту, вряд ли ему вдруг встретится добропорядочный гражданин, который не прочь будет поболтать о том, о сём. Зато та фигура на крыше вокзала говорила о многом. Бережёного бог бережёт.

Утренний туман окончательно рассеялся, а солнце, которому всё чаще удавалось пробиться сквозь серый занавес и всё дольше удержаться над городом, делало улицы по приветливей, придавало им почти живой вид, хотя и с паутиной готического нуара. Так что унылое «Аист на крыше», засевшее в мозгах заевшей пластинкой, сменилось вдруг игривым «У любви, как у пташки, крылья».

Путь до Маркса занял ровно вдвое больше времени, чем требовалось бы — сорок минут. Пастырь обошёл поваленный киоск «Роспечать» и замер под мёртвым светофором на перекрёстке с Сеченова. Впереди скалился разбитыми витринами с детства знакомый гастроном N27. Неровная надпись белой краской на его кирпичной стене, между двух витрин, лаконично извещала: «СУКИ!!!», а в следующем проёме, в не менее лаконичной абстракционистской манере, был изображён непомерно раздутый член с двумя огромными яйцами, больше похожими на коконы каких-нибудь гусениц-инопланетян. Стена дома

напротив магазина исчерчена пунктирными волнистыми линиями — следы от беспорядочных автоматных очередей. На тротуаре под этими линиями валялись два обезображенных, истерзанных временем и, прежде, собаками, труп.

Пастырь прошёл с полсотни метров и свернул во дворы, на узенькую асфальтовую дорожку, идущую среди древних тополей, почти невидимую сейчас из-под травы, проросшей во всех трещинах. Тысячи раз он ходил по этой тропинке: в школу и из школы, в магазин, в шаражку и из шаражки, в кино, на работу... Потом по этой же дорожке ходила Ленка. Потом и Вадька делал по ней свои первые шаги. Всё кончилось. Внезапно, быстро, жёстко. Ну и на кой хрен всё было, скажите вы мне, а?

Завыть бы сейчас в голос! Сесть на этой дорожке, в траве, и завыть, задрав морду в респираторе к небу, матеря небо, бога, судьбу, грёбаное правительство, весь этот долбаный мир, решивший вдруг, ни с того ни с сего сдохнуть.

Его дом был мёртв. Тоже. Видно же.

А чего ты ждал? Или ты думал, что Ленка сидит у окна и высматривает, когда же придёт её муженёк, вернувшийся с отсидки? Ещё войдя на Репейную ты уже понял, что город мёртв, что никого ты тут не найдёшь — уж своих-то точно не найдёшь.

С замирающим сердцем он через распахнутую дверь вошёл в подъезд. На первом этаже все двери выбиты, пустота и смрад. Поднялся на третий, встал у до боли знакомой двери с цифрой 9.

Ну здравствуй, дом!

А ключа-то и нет. Ключ то в зоне остался, в личных вещах. Вот так. И что теперь? Будешь ломать дверь в собственную квартиру? Будешь будить мёртвую тишину мёртвого города?

Ну и ладно.

Не дыша, он поднял руку, вдавил кнопку звонка, прислушиваясь, готовый вздрогнуть.

Идиот! К чему ты прислушиваешься? Электрификация всей страны давно отменена. Ну или не всей, но города Михайловска — точно.

Осторожно коснулся пыльной ручки, нажал.

Если бы дверь просто взяла и открылась в пустую квартиру, он бы, наверное, сошёл с ума от безнадюги. Ведь это значило бы, что его жилище мертво, никому не нужно, брошено без всякой надежды когда-нибудь в него вернуться, без расчёта на него, Пастыря, на то, что он обязательно сюда придёт. Но нет. Слава богу, дверь была закрыта. А значит, они — Ленка и Вадька — просто ушли, уехали, сбежали. Да, пусть сбежали, но они знали, верили хотя бы, что обязательно вернуться сюда, они думали о Пастыре, они помнили, что это — их дом, что он будет их ждать и обязательно дождётся.

Без всякой надежды он постучал в дверь костяшками пальцев. Этот одинокий звук разнёсся по подъезду гулко, резко и неуместно живо. Как неуместно звучала бы лезгинка в склепе.

Несколько минут стоял, словно прислушиваясь и ожидая, что сейчас щёлкнет замок, дверь приоткроется, с удивлённым ожиданием выглянет Ленка и завизжит, бросится ему на шею, беспорядочно целуя, плача...

Да нет, не прислушивался он. Просто размышлял, как будет попадать внутрь. Дверь ломать не хотелось. Сломать дверь — это тоже значило предать. Предать свой дом, признать своё поражение, согласиться с тем, что никто и никогда в него не вернётся. Нет, ничего он ломать не станет.

— Эй, парень!

А он и не слышал, не услышал, когда и как они подкрались!..

6. Боль

Не они — он. Мужик лет тридцати с пятаком, в синих трениках, в жёлтой футболке, в домашних тапочках, с обрезком трубы в руке стоял в пролёте между третьим и четвёртым этажами. Когда Пастырь резко повернулся на голос, поднимая обрез, мужик отступил чуть, поднял руки, развёл их в стороны. Но, кажется, не особо испугался, смотрел на Пастыря спокойно.

— Тише, тише, — произнёс он. — Николай, вроде?

— Пастырь, — прохрипел Пастырь севшим от неожиданности и долгого молчания голосом, удерживая живот мужика под прицелом. — Пётр, то есть.

— Извини. Мы с тобой почти и не пересекались. Я на пятом живу, ага.

Да, лицо мужика было смутно знакомо.

— Угу, — кивнул Пастырь. — Руки можешь опустить.

Но сам обрез отводить не торопился. Чёрт его знает, что у мужика на уме.

— Это *моя* тебя узнала, — объяснил тот, опустив руки, перехватив трубу с края за серёдку, сняв её таким образом с «боевого взвода». — Это, говорит, с третьего этажа дядька, Ленкин муж, из девятой, ага. Бабы-то они лучше друг друга знают, чем мы. Глаз-то у них цепче — любопытные же, ага.

Пастырь убрал обрез, сунул его в петлю на ветровке, сдёрнул респиратор, чтобы не мешал разговаривать.

— Что с моими, знаешь? — спросил он.

— Моя говорит, ты на зоне, вроде, куковал, — уклонился мужик от ответа. — Точно, ага?

Сердце Пастыря сразу почуяло недоброе. Если бы было чем обрадовать, уже обрадовал бы сосед: да всё, дескать, нормалёк с твоими было, когда уезжали.

— Мои живы? — спросил он, обмирая в ожидании ответа.

— Пойдёмте к нам, — послышался женский голос с пятого этажа. — Чего в подъезде-то стоять. Опасно же. Олеж, веди человека сюда.

— Ага, — кивнул Олег. — Это Надька моя. Пойдём. Ты не бойсь, Петро, мы здоровые. А здесь разговоры разговаривать не место так-то, ага.

Скрипя сердцем, готовя себя понемногу к плохим известиям, Пастырь поднимался вслед за мужиком наверх по гулкой лестнице.

— Я тебя давно за приметил, — говорил Олег. — Делать-то нечего целыми днями, так я дырку в шторе проделал и секу, ага. Я прям охренел, как тебя увидел. За последние пару месяцев первый живой человек, смотрю, ага. Да так, смотрю, отчаянно идёт, не скрываясь, ага. Я аж прям офигел. А моя как глянула, сразу тебя признала.

— Да, — улыбнулась им навстречу Олегова жена, стоящая на площадке перед открытой дверью, в стареньком коротком халатике, сама коротенькая и пухленькая, не смотря на очевидно не сытую жизнь.

А может, и не такую уж не сытую. В тесной прихожей хрущёвки, в которую Пастырь вошёл вслед за хозяином, стояли штабелями коробки, явно из продуктового магазина. Коробками же была загромождена и гостиная. В квартире повис прокисший запах давно немывтого и не проветриваемого помещения, немывтых тел, клозета и табачного перегара.

— Неплохо вы затарились, — кивнул Пастырь, обозревая ящики с водкой, бутылки

растительного масла, бутылки воды, мешок с сахаром и коробки китайской лапши в ближнем углу. Уставлена комната была так плотно, что оставался только небольшой пяточок в центре, где, похоже, супруги и спали, из чего можно было сделать вывод, что спальня вообще превращена в продовольственный склад.

Видать, когда начался бардак, когда начали крушить магазины да склады, Олежка не растерялся, тоже приложил руку. Ну и правильно: выживать как-то надо, и тут уж каждый сам за себя, и никто о тебе не позаботится. А может, рассчитывал приторговывать потихоньку.

— Жрать-то надо что-то, — буркнул Олег.

— А как без воды и света?

— Керосином спасаемся пока, — вступила Надежда. — Да спиртом сухим. Вода — да, заканчивается. А зимой что делать будем, без тепла-то, и вообще не знаю.

— Зато воды будет завалом, — сварливо проворчал мужик, — нагребай. Только ты доживи сначала до зимы. — И Пастырю: — Говорил я ей, сматываться надо отсюда, ещё когда первая волна только пошла говорил. Так нет: родители, родители, — гнусаво передразнил он жену. — Ну и где теперь твои родители?

С заблестевшими от слёз глазами она принялась собирать на стол в тесной кухне, куда провели гостя, раскочегарила примус.

— Может, наладится ещё всё к зиме, — произнесла с надеждой.

— С моими что стало, не знаете? — нетерпеливо спросил Пастырь

Супруги переглянулись, женщина опустила глаза, вздохнула...

В мае Елена отправила Вадика в лагерь. Многие так сделали, чтобы спровадить детей из города, в котором набирала обороты «краснуха» и который собирались закрыть на карантин. Принимали туда бесплатно, со всей области, обещали, что дети будут в полной изоляции от внешнего мира, под присмотром бригады врачей. Олег с Надеждой тоже отправили своего сына в тот лагерь, о чём теперь жалели. Неизвестно, что стало с детьми. Сначала, пока мобильная связь работала, дети хоть звонили, рассказывали, что да как. Весёлые, вроде, были, никто из них не заболел. Там и правда целая бригада, говорят, работала, осматривали их каждый день, таблетками какими-то пичкали для профилактики. А в городе между тем всё хуже и хуже становилось, всё страшней было жить. Начались погромы, паника. Немногочисленная милиция сделать ничего не могла, а потом ещё явились какие-то бандиты и объявили, что раз менты, дескать, порядок навести не могут, то они берут власть в свои руки. Тут уж вообще началось такое...

Виталий Георгиевич предлагал Елене уехать в Польшаево, к его родителям, но она...

А?.. Кто такой Виталий Георгиевич?..

— Ой... — Надежда зажала рот рукой, испуганно сморщилась, глядя на мужа, который молча вертел пальцем у виска.

Пастырь несколько минут смотрел на супругов, переводя тяжёлый взгляд с одной на другого. Потом кивнул, поиграл желваками.

— Ну и? Она поехала?

— Не поехала, — выдохнула Надежда.

— Ты, Петро, только не думай... — вмешался было Олег, но Пастырь не дал ему договорить:

— Но она жива?

Бандиты лютовали. Оставшуюся милицию перебили быстро, даже на квартиры к

ментам приходили убивать. Убивали безжалостно всех, кто выглядел нездоровым, кто попадался под руку на улице, кто — не дай бог — выказывал недовольство. Бешеные они были, псы бешеные, рвали всех подряд — и чужих рвали и своих. От страха, наверное, от предчувствия скорой смерти. Стали ходить по квартирам, выискивать награбленное из магазинов, да и просто искать людей побогаче. Убивали и грабили почём зря, целыми семьями вырезали, целыми улицами. И никто ничего не делал — ни тебе милиции, ни армии, как будто так и надо. Администрация городская попряталась, мэра убили в числе первых.

Потом бандиты исчезли из города. Говорят, целой колонной «Камазов» уезжали — столько добра нахватили себе.

— Что с Леной стало? — не выдержал Пастырь ходьбы вокруг да около.

— Умерла она, — отозвался Олег. — В июне и умерла, едва эти охломоны из города свалили, ага. А этот... козёл!.. Перевалов этот...

— Её на Космодемьянской видели, — перебила Надежда. — Зоя Максимовна, из одиннадцатой. Вы ж её знаете, наверное. Помните Зою Максимовну? Медсестрой работала. Соседка ваша была. Тоже умерла, в июне. А *этот* — уехал. Ещё когда бандиты явились. Лену бросил и уехал.

Пастырь не ответил. Он сидел бледный, уставясь в одну точку на столе, где на коричневой изрезанной клеёнке затерялся одинокий бледный червячок китайской лапши.

— Это... — оживился Олег. — Я сейчас, ага...

Он убежал в гостиную, вернулся с двумя бутылками водки, налил по полстакана.

— Помянем, — выдохнул, поднимая. — Всех, ага.

А в начале июля вообще жуть началась, — продолжала Надежда, морщась после водки, накладывая в тарелки лапшу. Явились «пионеры». Говорят, они из того лагеря, из Сосновки, и даже, вроде, Михайловских среди них кто-то видел. Врут, наверное, потому что как тут увидишь, если они сразу окопались на вокзале и близко никого к себе не подпускали. Загребли себе водоканал, где воды в цистернах вымершему городу на год хватило бы. Весь город обшмонали, но после бандитов найти что-нибудь было уже нереально. Вы не думайте, что они дети — не дети они. Звери лютые, ещё хуже бандитов. Те хоть ради поживы убивали, а эти — так просто: от страха ли, от ненависти ли.

— Фашисты они, — вставил Олег. — Я их видел один раз, на Глинки. Они там целой шоблой проходили, строем. Ходят строем, ага, с черными повязками, а на руках наколки типа свастика. Вооружены неплохо так-то, ага.

При них не дай бог на улице оказаться — стреляют сразу, не разговаривая. Люди рассказывали, что ходила к ним делегация, просить, чтобы за водой пускали... Никто не вернулся.

— Много народу в городе? — глухо спросил Пастырь.

— Да кто его знает, — пожал плечами Олег, наливая ещё по одной. — Народ есть, это точно, ага. Болезнь, вроде, поутихла, не знаю. А может, просто не видно уже умирающих — по улицам нынче так-то не ходит никто. И без воды ещё мрут. Кто отчаянный, те бегают с ведрами-бидонами на Чуню, да только много ли набегаешь, когда то и смотри, чтобы на глаза *этим* не попасть, ага. Тоже не знаю, что делать будем — литров триста осталось водицы. Думаю, в Благонравное перебираться надо до холодов — там печи, колодцы.

Выпили.

В сердце Пастыря засел клин — острый, ржавый, металлический клин, холодный и

тяжёлый. И сердце болело, на самом деле болело — давило и отдавалось шилом куда-то в спину. И от водки легче не становилось. Это надо было пару бутылок выпить ему, чтобы уж вырубиться совсем и ничего не чувствовать.

— Я выхожу иногда, — продолжал Олег, вскрывая новую банку тушенки. — Вижу мужика одного с завода, с которым работал, ага. Тут рядом, на Смирнова, в подвале целый табор организовался — четыре семьи. Плохо, говорят, совсем стало без воды-то, ага, так тоже в Благодонное думают перебираться.

— Выкурить пионеров не пробовали? — тяжёлый взгляд Пастыря упёрся в Олеговы прозрачные глаза.

— Кто? — опешил тот.

— Вы. Оружие-то, поди, есть у мужиков? Неужели не осталось ничего после ментов да бандитов? А «Охотник» магазин?

— Да есть стволы так-то, — пожал плечами хозяин. — Стрелял кто-то в этих пионеров пару раз. Только куда тут погрёшь, с берданками да «макарами» против этой шоблы. Их там человек шестьдесят, не меньше, ага. Автоматы, винтовки. У них даже гранаты есть — слышно было пару раз как взрывали что-то. Крутые ребята, не смотри, что малолетки. А тут походи попробуй собери кого — одни трупы да умирающие, да боятся все друг друга: вдруг ты заразный, ага.

— Женька! — пьяно сквасилась и заскулила Надежда. — Женечка наш... А вдруг... Как же можно-то... стрелять-то... Сыно-о-оче-е-ек!..

— А ты издалека пришёл? — поинтересовался у Пастыря Олег.

— Угу, — кивнул тот, пытаясь собрать глаза в кучку. После двух стаканов водки отвыкший от этого поила и голодный организм раскис совсем. И только в сердце больно давил тяжёлый ржавый клин. — Это ж откуда у них столько оружия?

— У пионеров-то?.. Да кто их знает. Там же, возле лагеря охрана стояла — менты и солдаты из части, что в Ледащёво, ага.

— И никто не пробовал добраться до Сосновки?

— Ездили, — пьяно мотнул головой Олег, разливая остатки, открывая новую бутылку. — Я, Степаныч и Костик ездили, ага.

— И что там?

— Мрак, — отозвался тот, опростав свой стакан. — Трупы. Одни трупы кругом. Менты, дети, солдаты, обслуга... И это, слышь... С пулевыми почти все, ага. Красных мало совсем, и они в одном месте сложены. А те, что по территории лежат — с пулевыми, ножевыми, с головами разбитыми.

— Же-е-е-ня! — взвыла женщина. — Сы-ы-ына-а-а!

— Да заткнись ты! — шикнул на неё муж. — Орёшь на весь город! Нам только пионеров тут в гости не хватало, ага.

— А... это... — напрягся Пастырь. — Вадьку моего...

— Не видал, — покачал головой Олег. — Да и пойми: мы ж каждый своих высматривали, ага. Их там с полсотни по лагерю разбросано было... Не знаю... А где красные лежали, так туда идти... сам понимаешь так-то... Мы туда мотались недели через две после того, как пионеры явились, ага. Узнать было трудно уже кого-нибудь... Петрович свою Маринку только по одежде и определил, ага... А я нашего так и не нашёл...

— А здесь Вадьку не видать было?

— Не-а, — Олег сочувственно нахмурился. — В подъезде никого живых нет. Да во всём

доме, наверняка, никого, кроме нас, ага. Я это... цементом посыпаю вниз, в подъезде, на всякий случай. Ни разу ничьего следа не видел.

Пастырь в раздумье посмотрел на зажатый в кулаке стакан, в котором смердяче плескалась водка. Пить больше не стоило. Да и не хотелось. Таблетку бы какую от сердца...

Кто такой этот Виталий Георгиевич, он не знал да и знать не хотел. Это было теперь уже неважно совсем. Ленки нет, а значит, все грехи её искуплены, если были грехи. Теперь нужно было думать про Вадьку. А вариантов, значит, всего два остаётся: либо он там, в лагере, среди... Либо тут, на вокзале.

Вадьку Пастырь знал хорошо: Вадька был тих, не отчаян, с ленцой и подростковым безразличием ко всему, кроме своих каких-то, одному ему ведомых, интересов. Впрочем, это было три года назад, когда пацану было двенадцать. А они ведь быстро меняются в этом возрасте, каждый год так меняются, что и не узнаешь; так что каким стал его сын за эти три года, Пастырь мог только предполагать. Ленка многого не писала, конечно, но по интонации, с какой она говорила о сыне, было видно, что намучилась она с ним уже по самое не могу.

Эх, Ленка, Ленка... Чего тебе надо было? Ведь хорошо жили — ну не хуже, чем другие живут. Мужика, что ли, не хватило, ласки мужицкой? Или дурость бабья в голову ударила, когда этот хрен с горы подъехал с красивыми словами? Или... плюнуть решила на своего законного мужа, поставить крест?.. Ох, бабы...

— Ты, поди, многое повидал, — пьяно прогундел Олег. — Что там творится расскажи, а? Как там наша... Россея... великая наша держава, ёптыть? Совсем подохла или ещё трепыхается?

Пастырь с внезапным омерзением посмотрел в осоловелые прозрачные глазёнки. Хотел врезать, но передумал. Человека просто отчаяние жрёт и обида — на судьбу, на жизнь, на людей, на сраное правительство, на бездарных горе-врачей, накупивших себе дипломов, на ментов, которые ни на что не способны... А через водку всё и прёт наружу, что было свалено в душу и камнем придавлено.

— Ой-ой, как он глянул!.. Слышь, Надьк... Он меня прям убил взглядом, ага... — принялся паясничать хозяин. — Ты, Петро, не надо так смотреть, ага... Мне твоё презрение... Я ж и перее*** могу, извини конечно, ага... Ты, может, заслуженный зэк там и всё такое... Но я, Петро, знаешь, мужик простой так-то... Я, бля, без аха и упрёка возьму и перее***, ага...

Испуганная пьяненькая Надежда треснула мужа кулачком по затылку, схватила за волосы, принялась зажимать ему ладонью рот, притягивая его голову к своей груди:

— Чего мелешь-то, ты!.. — запыхтела она. — Куда тебя понесло-то, олух царя небесного... — И Пастырю: — Вы не слушайте его, Пёт Сергеич... Он дурак, когда примет.

— Сама дура! — пробубнил Олег в её ладонь. — Уйди нах-х!

Пастырь принялся рассказывать. Скорее себе рассказывал, чем этим двоим. Рассказывал о той девчонке, в Симферополе, которую забросали камнями вместе с годовалым сыном, думая, что у них горячка — забили насмерть, как ни увещевала женщина, как ни умоляла, говоря, что у ребенка банальный диатез, как ни закрывала его собой до последнего. Рассказывал о сошедшем с ума менте в Новосибирском аэропорту: когда его попытались изолировать, он положил всю бригаду скорой помощи и половину рейса. О целых колоннах автомашин, покидавших города и о том, как останавливались, вдруг, многие из них прямо на дороге и уже не двигались, и тогда приходилось ждать, пока подъедет бульдозер или танк и

столкнёт мёртвую машину в кювет, расчищая затор. Рассказывал о том, что жизнь человеческая нынче не стоит ничего — ноль рублей и ноль копеек её цена; о повальной всеобщей панике и о том, как из последних жил, внадрыв, пытаются люди выжить.

Олег болтал головой, клевал носом, матерился. Его жена утирала с мутных осололевших глазок пьяные слёзы и причитала, оплакивая своё будущее.

Потом Пастырь махнул рукой, поднялся. Обрывая их уговоры остаться до завтра, неуверенной походкой пошёл в туалет.

Унитаз не было. Вернее он был, но стоял в стороне. А на его месте была проломлена в полу дыра в брошенную квартиру четвёртого этажа, прикрытая распластанным картонным ящиком из-под лапши «Доширак», чтобы снизу не тянуло смрадом. Хорошо устроились. Воды-то нет же. Это ж благо, что квартира их расположена по другому стояку, не над Пастыревой.

— В шестнадцатой хозяйка померла давно, — промычал Олег, отводя пьяные глаза под взглядом Пастыря.

Пастырь нужду справлять не стал, покачал головой, вышел.

7. Пёс и манекены

Слегка пошатываясь, спустился на третий этаж. Постоял несколько минут, прижавшись лбом к двери с номером девять, вдыхая мёртвенную и пыльную вонь подъезда. Потом потянул носом через замочную скважину, надеясь учуять родной запах своего жилища — не учуял ничего. На всякий случай, прижимая губы к замку, позвал: «Вадька! Ты дома?». Несколько минут ждал ответа.

А что, если сын правда дома? Лежит там, умирая от голода и жажды... Или от горячки...

Нет. Пастырь помотал головой. Нет. Пыль на ручке копилась давно, уж никак не меньше прошедших двух месяцев — сейчас на ней только его пальцы и видно было.

На всякий случай позвал сына ещё раз, втянул ноздрями воздух из квартиры через замочную скважину. Задумался: не сломать ли всё же дверь?..

Нет.

Достал из кармашка рюкзака огрызок карандаша и блокнот, вырвал лист. Долго пытался вспомнить, какое сегодня число, но так и не вспомнил. Написал:

Вадька! Жизнь продолжается. Не вешай носа и не паникуй. В квартире N20 живут супруги — Олег и Надежда. Если они еще не ушли, постарайся по началу держаться их. С ними или без них уходи в Благодравное, в городе ты не выживешь, тем более — один. Если идти от Благодравного в сторону Карасёвки, то за развилкой, на малой дороге найдёшь зелёный вагончик. Там живёт Михай, цыган — мужик хороший, надёжный, наверняка тебе поможет, чем сможет. Скажешь, что сын Варнака, не забудь. Будь осторожен, никаких контактов с «красными», ближе двадцати метров не подпускай ни за что. Думай головой, очень тебя прошу. Не верь никому, кроме Михая, если повезёт с ним встретиться. Борись, Вадька, не сдавайся. Живи!

Удачи тебе, сын! Прощай. Любящий тебя, отец.

Поставил подпись, сложил бумажку, скрутил в тонкую трубочку и засунул в зазор под верхним наличником.

Спустился на первый этаж, посмотрел на свои следы на тонком слое белого цемента, которым припылены первые ступени. Вышел на улицу, огляделся по сторонам и, отойдя к кустам, отлил.

Был первый час дня. Солнце шпарило совсем не по-октябрьски. Лужи после ночной грозы стремительно высыхали, оставаясь только в тени дворов — чистые, прозрачные, не замутнённые следами жизнедеятельности Хомы Сапиенса лужи. От асфальта веяло парилкой, от стен домов — смертью. Вспомнилась «Мёртвый город, рождество», одна из любимых, и он принялся напевать её себе под нос, выбирая путь следования.

Собственно, путь-то у него был, кажется, один: вокзал. Мычание из репертуара «ДДТ» сменилось классикой: «Взвейтесь кострами».

Но сначала ему надо сходить на Космодемьянской. Низачем — просто так. Нет, разумеется, не для того, чтобы найти там останки жены, которые, вероятно, так и лежат на том месте, где встретила она свою смертушку.

Он помотал головой, пытаясь вытрясти из неё остатки хмеля. Подошёл к ближайшей

луже и долго плескал в лицо тепловатую воду, без удовольствия фыркая и отплёвываясь. Потом постоял, глядя на свой дом, помахал рукой пятому этажу, нисколько не сомневаясь, что через дырку в шторе за ним сейчас наблюдают. Потом забросил за спину рюкзак, который отяжелелся тремя банками тушёнки, бутылкой водки и несколькими коробками лапши, натянул респиратор и перчатки, достал из петли обрез и двинулся на северо-восток, к универмагу, за которым начиналась узкая и короткая — десяток домов — улица Зои Космодемьянской. Чего Ленке было нужно на этой улице, одному богу ведомо. Может, там жил её хахаль? Да нет конечно: не пошла бы она, заведомо уже больная, к нему. И, насколько Пастырь знал свою жену, она ушла бы из дому при первых же симптомах болезни — пошла бы помирать куда угодно, только подальше от дома, чтобы не сеять в нём заразу. А что делала на Космодемьянской соседка из одиннадцатой квартиры? Эта, как её... Зоя Максимовна?

Ему отчётливо представился весь ужас, который должна была испытать жена в последние часы жизни. Одна во всём городе, приговорённая к смерти, без права умереть по-человечески у себя дома, без надежды увидеть напоследок родное лицо, каждую минуту ожидая брошенного в голову камня или выстрела в спину. Увидел, как сторая от температуры в сорок один, дыша огнём, красная и уже плохо соображающая бредёт она, шатаясь, по пустынным улицам умирающего города, без цели, или, может быть, желая побыстрее найти смерть — нарваться на кого-нибудь, кто не откажется стеснительным выстрелом прекратить её мучения.

Ленка, Ленка...

На Гоголя показалось ему на миг, что кто-то мелькнул за углом бара «Корвет». Но, наверное, только показалось. Кто и с какой целью станет ходить по мёртвым беззвучным улицам обездушенного города? Если только кто-нибудь вышел за водой... Увидел, наверное, обрез и решил уклониться от встречи. Ну и ладно, Пастырь тоже не очень-то жаждет встреч. Ему нужна только одна встреча. Дай-то бог, чтобы Вадька оказался в числе этих... пионеров. Хотя трудно представить его в подобной компании.

«Ты опять забываешь, что ему давно не двенадцать! — одёрнул Пастырь себя. — И потом, он мог попасть в эту компанию против воли... Чёрт же его знает, что за кодла сидит на вокзале и что у них там за порядки».

Уже незадолго до поворота на Фурманова, к универмагу, Пастырь отчётливо почувствовал чей-то прилипший к спине взгляд. Резко обернулся... Никого.

Быстро пересёк улицу, повернул за угол и остановился, присел на корточки, прижавшись спиной к тёплой и шершавой стене дома, взяв наизготовку обрез.

Ему пришлось сидеть так минут пять. Шагов он так и не услышал, успел только вздрогнуть, когда из-за угла вывернула собака. Большая грязная псина, облезлый и исхудалый кобель-среднеевропейец вывернул из-за угла, идя, наверное, по следу, и тут же отпрянул, замер, втягивая носом Пастырев запах, недобро глядя.

— Тебя почему ещё не съели, шашлык? — спросил Пастырь.

Пёс не ответил, но настороженно опустил голову, недвусмысленно приподнял верхнюю губу, показывая клыки. Однако в глазах злобы не было, скорее — равнодушное ожидание чего-то.

— Так ты, типа, охотишься на меня, что ли? — продолжал Пастырь, догадываясь о намерениях пса. — Ну, это ты зря, парень, — я ведь и шмальнуть могу.

Он переложил обрез в левую руку, правой медленно и плавно достал из ножен штык-

нож. Пёс порычал на это движение хрипло, для острастки, но нападать, видимо, не решился пока.

— Ну что? — поинтересовался Пастырь. — Биться будем или разойдёмся при своих?

Держа нож на взводе, прикрывая им горло, медленно поднялся, давая псине возможность оценить свой размер и почувствовать силу человека. Поднявшись, выждал на раз-два и сделал шаг на сближение. Пёс снова зарычал хищно, но в конце дал петуха — его глухой рык перешёл в нерешительный взвизг. Зверюга, видать, имел опыт людоедства — давил и рвал, наверное, потихоньку, больных, которые уже плохо соображали и ещё хуже двигались. Но варнак совсем не выглядел слабым: в его движениях чувствовалась сила, а в запахе его не было ни страха, ни болезни.

— То-то и оно, — произнёс он, делая ещё один шаг в сторону собаки.

Пёс опустил губу, спрятал клыки, попятился, поджимая хвост. Смирился с тем, что на этот раз ему ничего не обломится.

— Вали, короче, отсюда, — посоветовал ему Пастырь. — Я вас, таких зверушек, знаешь сколько слопал... Я на вас собаку съел, если что.

Он широко махнул ножом. Пёс глухо зарычал, но отбежал шагов на десять, остановился, равнодушно поглядывая на человека. А Пастырь, не боясь, повернулся к нему спиной, сунул штык в ножны и потопал к универмагу.

«Пристрелить бы надо было, — подумал он. — Может, эта псина и Ленку...»

Старое серое трёхэтажное здание универмага, построенное ещё году в шестидесятом, встретило его оскалом выбитых дверей и безучастным взглядом пустых глазниц-окон, стёкла из которых были высажены начисто и пылились на тротуаре. Внутри видно было раскуроченные прилавки, поваленные стойки для одежды, осколки стекла и фарфора, кучи наваленных на полу товаров, которые не понадобились никому: пластиковые тазы и вёдра, детские игрушки, мячи, зонты, недобитые зеркала и мебель. А у входных дверей шутники — то ли бандюки, то ли пионеры (хотя чем вторые отличаются от первых — это ещё вопрос) — повывастили манекены и не поленились, глумясь, выкрасить их красным и завернуть в некогда белые простыни. Одному женскому манекену кое-как приделали между ног секс-шоповский фаллос с натянутым на него презервативом, пририсовали над верхней губой мюнгхаузеновские усы; а мужику водрузили на пластмассовую голову кудрявый женский парик.

— Ну-ну... — пробормотал Пастырь. — Петросяны, типа...

Он прошёл между манекенами, по выбитой и брошенной на пол массивной двери, внутрь, в тихий беспорядок магазина. Не меньше часа ходил по этажам, блуждал по отделам, хрустя битой посудой, перешагивая заваленные стойки, распиная мячи и кукол. Нет, всё самое ценное, конечно же, было вынесено задолго до него. Ни одежды, ни консервов, ни спичек, ни удочек — ничего полезного в разбросанном по полу и оставленном на полках хламе. Нашёл, правда, пыльное байковое одеяло, вытряс, свернул потуже, уложил в рюкзак. Ночами было уже холодно, а скоро начнётся и настоящая осень. Долго вертел в руках блестящий аккуратный топорик для разделки мяса, с обрезиненной ручкой, чуть изогнутый. В конце концов сунул в одну из петель, нашитых на ремень — хорошая вещь, хоть и не из лёгких.

Когда вышел из универмага, увидел пса, сидящего на противоположном углу магазина. Псина демонстративно не смотрела в его сторону. Пастырь усмехнулся, помотал головой, пошёл по Фурманова в сторону Космодемьянской. Через пару минут оглянулся. Кобель

поднялся и сделал пару шагов за человеком. Теперь стоял, выпластав язык, и голодно жмурился вслед.

8. Увольнение

С Космодемьянской хорошо было видно вокзал, поэтому приходилось жаться к правой стороне, к домам, чтобы не попасть в прицел «аиста», по-прежнему торчащего на крыше. На этой далеко не самой популярной улице трупов действительно было почему-то много. Почему — Пастырь понял только когда дошёл до больницы. Городская инфекционная больница №2 двумя своими корпусами примостилась на фоне небольшого уютного парка, принявшего сейчас вид совершенно дикий из-за своей многомесячной неухоженности. На пике эпидемии лечебное заведение приняло на себя, наверное, не один удар разъярённой толпы, потому что во многих окнах на замену стёклам пришли одеяла и матрацы. Большое полукруглое крыльцо тоже было превращено в баррикаду — его украшали мешки с песком, металлические кушетки и столы, поставленные напопа. Всё это усыпано множеством камней и арматуры, бросаемых, наверное, в защитников, а колонны, подпирающие лепной навес над входом, испещрены сколами и выбоинами. Больницу, видать, штурмовали. Вокруг было особенно много полуистлевших трупов; лёгкий ветерок разносил во все стороны тяжёлый запах тухлятины, одевал мертвецов в жёлтые и оранжевые саваны. Там и тут попадались обездушенные гильзы самых разных форм и калибров.

Часовня, стоящая в конце аллеи, с левого бока главного корпуса больницы, зияла провалом выломанной двери. Вокруг тоже несколько трупов тех, кто пришёл, наверное, сюда в последней надежде найти у бога защиту от смертельного недуга. Но бог, он, ведь, последователен — с чего же он станет избавлять от болезни, которую сам же и (как минимум) позволил. У входа скрючился полусгнивший труп в полицейской форме. Пастырь сразу наострил взгляд в надежде найти рядом что-нибудь похожее на оружие, но, ясное дело, до него тут побывал уже не один жаждущий заполучить себе «макара» или «калаша».

Люди невольно, по привычке, тянулись в последней надежде к больнице. Затуманенное горячкой сознание, утратив способность адекватно и критично воспринимать действительность, ослепляло надеждой, следовало за привычными рефлексамии прежней жизни. Но спасения не было. И люди умирали здесь. Они были повсюду: на скамейках, выстроившихся по аллее; сидели, свесив голову, под деревом или прислонившись к стене больницы; на мраморной плите под памятником Сеченову; лежали на траве, скрючившись как огромные полуистлевшие зародыши или сбитые влёт птицы.

Где-то здесь, наверное, лежала и Ленка.

Пастырь поплотнее приладил к лицу респиратор, подтянул лямки, и вошёл в гулкий, притихший и протухший больничнй холл. Медикаменты ему тоже были нужны; на дне рюкзака валялся только последний недоеденный стандарт «Цитрамона», а на первом этаже больницы, сколько он помнил, всегда был аптечный киоск. Вот-вот начнётся осенняя слякоть, дальше — зима; и от простуд будет не уйти.

По выкрашенному в мерзкий тёмно-зеленый цвет облезлому коридору он прошёл до маленького фойе, где расположился буфет, аптечный киоск и притон «Роспечати». Здесь тоже всё оказалось разбитым: валялись на полу вперемешку истоптанные старые газеты и журналы, коробки презервативов, бутылки шампуней, таблетки, склянки, одноразовые тарелки и стаканчики из буфета, битое стекло. Пастырь зашёл в киоск, порылся в выдвижных шкафчиках, набросал в рюкзак всё что смог найти полезного: «Но-Шпа», «Аспирин», «Антигриппин», бинты, мази, вату, йод. Даже жгут положил на всякий случай, в

предвидении визита на вокзал.

Рюкзак располнел за сегодня, потяжелел, стал надёжней. Тащиться с ним на вокзал, наверное, не стоило, лучше было бы схоронить его до поры в надёжном месте.

Без всякой надежды заглянул в буфет, порылся по столам и полкам: ничего, кроме нескольких бутылок газировки и банок пива. Почувствовав набежавшую слюну, распечатал здесь же жестянку «Балтики», выхлебал залпом, довольно крякнул. Оставшиеся четыре банки уложил в рюкзак.

Вернулся в главное фойе. Когда уже направлялся к выходу, взгляд упал на ребристую доску под красное дерево, с перечнем отделений и врачей. Самой первой строкой шёл главный врач Перевалов В.Г.

— Ах ты ж сука! — пробормотал Пастырь, остановившись и прищурившись на фамилию. — Так вот что ты за гусь... Свалил, говоришь, педрило, а?.. А клятва Гиппократата как же, а?

Он сплюнул и вышел на больничное крыльцо. Остановился в раздумье на минуту, потом подобрал валяющуюся под ногой арматуру, вернулся. Разбил стеклянную рейку над фамилией главврача. Полоска бумажки с жирно отпечатанной на принтере фамилией и должностью, вспорхнула и по сложной кривой плавно опустилась на пол, как один из тысяч жёлтых листьев, что тихо опадали на улице с тополей и клёнов.

— Уволен ты, сволота, — сказал Пастырь, поднимая и разрывая бумажку в клочки.

Легче не стало. Пастырь, не задумываясь, уволил бы Перевалова В.Г. и из жизни, поэтому от видимости восстановления справедливости осталось только мерзкое горькое послевкусие. А может быть, это выпитая «Балтика» горчила на языке.

— Надеюсь, краснуха тебя в натуре уволила, сучок, — прошептал Пастырь, снова выходя на улицу.

По аллее, по жёлтому шороху мёртвой листвы, он дошёл до часовни, обогнул её и, дворами, чтобы не сильно светиться, двинулся в сторону Первомайской, которая должна была привести его, через Дундича, к Вокзальной.

Перед углом последнего дома оглянулся. Рыжий с черными подпалинами пёс настойчиво тащился за ним, отставая шагов на пятьдесят.

До вокзала оставалось совсем немного, по прямой — не больше метров шестисот. Но по прямой идти не было никакого резона — слишком заметно. Лучше было дойти до Вокзальной и двигаться к вокзалу под прикрытием густо насыпанных там гаражей, домов и домишек, забегаловок-павильонов и массивного здания хлебозавода. Спешить тоже было некуда — до темноты на территорию вокзала лучше не соваться, если уж эта шпана действительно так военизирована. Лучше найти себе хорошее место для обзора и до вечера понаблюдать, посчитать «пионеров», прикинуть маршрут. Может быть, удастся разглядеть Вадьку. Хорошо бы взять «языка» и пообщаться с дитём на предмет количества живой силы, целей, боеготовности, узнать про сына.

А дальше?..

А дальше — чёрт знает. Воевать со шпаной Пастырь не собирался, кем бы они там ни оказались. Наиграются, повзрослеют, если не перемрут, — поймут всё и вернуться к людям. Ну а не поймут, так бог им судья. Он с ними сам разберётся — а кто такой Пастырь, чтобы... Вот если Вадька окажется среди них, тогда извиняй, брателло бог, тогда придется Пастырю влезать в дерьмо по самые уши, и ничего не поделаешь. Потому что сын — это всё, что у него в этом сраном полудохлом мире осталось.

9. Таня

— Эй! — окликнул Пастырь, приспустив респиратор, на всякий случай изготовившись пальнуть.

Это была женщина. Девка. Молодая совсем, не больше двадцати пяти. Пастырь увидел её как только повернул на Дундича — она стояла в сквере, напротив ресторанчика, прислонясь к облетающему тополю, навалившись на него плечом и обнимая себя руками, словно замёрзла. Впрочем, в одной мужской клетчатой рубашке поверх джинсов, на ветру, который давно уже поднялся, обдёргивая с деревьев желтизну и нагоняя с запада чёрносерую беременную дождём пелену, жарко ей наверняка не было. Да, видно было, как её потряхивает от холода.

Она медленно повернулась на зов и, потеряв, наверное, последние силы, обдирая спину о дерево, опустилась, села, замотала головой, будто пьяная в стельку.

И этот характерный жест и пунцово-красное лицо не оставляли ей никаких шансов — красная горячка в терминальной стадии, когда человек уже почти ничего не соображает, плохо видит и то сгорает, то замерзает в лихорадке. Незадолго до конца начинается сильная безудержная икота, судороги такие, что человека едва не скручивает в узел, недержание мочи и — смерть.

Пастырь опустил обрез, огляделся по сторонам. Пса не было видно, но его присутствие где-то поблизости — ощущалось. Этой твари оставлять живую ещё девчонку было нельзя. Да и мёртвую не хотелось бы.

— Эй, ты как? — позвал он, приближаясь метров на десять, садясь на скамейку, ощущая спиной взгляд «аиста». Хотя, нет, пионер вряд ли его сейчас видит за горбом островерхой крыши ресторана.

Девчонка подняла на него мутные глаза, с минуту тряслась и стучала зубами, её тяжёлая голова безвольно валилась то к одному плечу, то к другому.

— Х-холод-но... о... о...

— Угу... Держись.

А что он мог ещё ей сказать. Хотелось подойти, обнять, погладить по голове и успокоить, чтобы хоть немного облегчить ей последние минуты, но делать этого было нельзя. Один вдох рядом с ней — и через сутки-двое он будет вот так же сидеть где-нибудь под деревом, корчиться и напускать в штаны.

— Х-х-хо-л-д-но, — повторила она.

Блин...

Пастырь снял рюкзак, достал одеяло, бросил ей:

— Укутайся.

Девушка безучастно посмотрела на байковый ком, упавший в метре от ноги, помотала головой, не в силах сообразить, что от неё требуется. Потом качнулась, повалилась на бок, потянулась к одеялу, подтащила к себе и кое-как расправила. И уже не села, потратив на эти движения последние силы, — легла на одеяло, с горем пополам укрывшись.

— Ух... Ух... Ух... — пыхла на каждом выдохе, не переставая трястись.

— Тебя как зовут, маленькая? — спросил он, оглядываясь, высматривая пса.

— А?.. Та... Та... ня... зо... вут... Ма-моч-ч-ка-а-а...

Кобеля было не видать — может, отстал, зараза.

— Ничего, Танюш, ничего, всё будет хорошо.

— Не... не... не бу-дет... Ум-мру... ой... я...

Пастырь скрипнул зубами, отвернулся. Переведя дух, снова повернулся к девушке.

— Умрёшь. Только ты не бойся, Тань. Это легко. Не бойся.

Да откуда тебе знать, легко ли это! Это та тварь, что выпустила красную смерть из пробирки, думает, наверное, что умирать легко.

— Не... не хо-ч-чу... Х-хо-олод-д-но...

— Ты потерпи, маленькая. Потерпи немножко. Натяни одеяло получше. Согреешься.

В том, что краснуха не пришла ниоткуда, не упала с неба, Пастырь не сомневался. Химики нахимичили, сто пудов. Ясно было, что это не какая-то новая версия гриппа, не мутировавший какой-нибудь там, хрен его знает какой, вирус.

А началось всё в Африке — оттуда, говорят, пошли первые сообщения о новой болезни, из Сомали-Танзании или ещё какого обезьянника. Понятно: Африка же — кому она нужна. Годится только в качестве полигона для испытаний всякой пакости вроде спидов и краснух. Или спланировано всё было, но просчитались где-то, или сама вышла новая болячка из-под контроля и отправилась гулять по миру...

Таня притихла, только дышала шумно, со всхлипами. Минут через пятнадцать ей стало жарко, красный лоб и пунцовые щёки покрылись испариной, но она не переставала трястись. Ещё через какое-то время стали заметны конвульсивные подёргивания ног и рук, судороги то стискивали горло, то отпускали — она дышала с трудом, редкими всхлипами, непрерывно икала, а взгляд, когда девушка изредка открывала глаза, был направлен внутрь и ничего не выражал. Знакомые симптомы, которые Пастырь видел не меньше сотни раз — вся, как говорят чёртовы медики, клиническая картина налицо. Только никто уже никогда эту картину не опишет. И не найдёт лекарство от той дряни, которая медленно и цинично убивала сейчас молодую симпатичную девушку. Это от природной болячки можно лекарство придумать. А от того, что сам человек своими шаловливыми ручонками сделал — тут уж и бог только в затылке почешет, удивляясь буйной фантазии своего детища.

Вскоре девушка затихла в странной скрученной позе. На одеяле под ней появилось и ширилось влажное пятно.

В какой-то момент он понял, что она агонизирует. Её исхудалая тонкая шея странно скрутилась, вывернулась, заставив лицо обратиться к Пастырю, словно девушка хотела что-то сказать ему напоследок, но горло её издало только прерывистый вскрип. Одну руку конвульсия завернула вверх и за спину; умирающая лежала теперь, скрючившись, как подбитая птица с выставленным к небу крылом.

Пастырь кивнул, поднялся, натянул респиратор, забросил рюкзак за спину, поднял положенный на скамью обрез. Ещё раз внимательно, через бинокль, осмотрел окрестности, выискивая взглядом кобеля. Видно его не было.

Старательно отгоняя от себя мысль, что не мешало бы девочку похоронить, пошёл вдоль Комсомольской, за ресторан, во дворы, прижимаясь к стенам, срезая путь.

Не обернулся, заставил себя окостенеть шеей, одеревенеть спиной, когда услышал сзади довольное рычание пса, кинувшегося к ещё теплому телу. Где-то же выждал, перехитрил, тварь!

Ну не стрелять же теперь в него было... Такова нынче жизнь, что ж теперь — такова её метафизика.

Жизнь человеческая переставала быть одним из признаков этого мира, разрушалась, и

что-то в ней утрачивало прежнюю ценность. А ценность-важность её и в лучшие-то времена была не ахти.

— А жизнь такая штука, а жизнь такая с-с-сука... — бормотал он, скрываясь в желтизне тополей, тянущихся вдоль пустынного Остаповского рынка. И снова: — А жизнь такая штука, а жизнь такая сука — паршивая дворняга, у бани, на крыльце...

10. Жизнь продолжается

На Вокзальной, постоянно отслеживая повороты «аиста» на крыше и двигаясь быстрыми короткими перебежками, присмотрел себе пятиэтажку, выходящую чердачным окном на вокзал. Прощмыгнул в тихий подъезд, разорвав лицом незамеченную густую паутину, перегородившую дверной проём. Долго стирал с себя липкую дрянь, вполголоса матерясь. Но раз паутина — это добре: никто, значит, сюда не ходит.

Только он скрылся в грязном, десятилетку не беленном, подъезде, как на улице зашумел давно назревший дождь.

— Это хорошо, Тань, что ты успела до дождя, — прошептал Пастырь, поднимаясь по лестнице, прислушиваясь к скрипу пыли под ногами. Он не смог бы объяснить, почему это хорошо, но был уверен, что так лучше.

На пятом этаже задрал голову, посмотрел на чердачный люк: открыто. Сунул обрез в петлю, достал из рюкзака и переложил в карман фонарь. Поднялся по разболтанной и гулкой металлической лестнице, пролез в чёрный квадрат и, подтянувшись на руках, выбрался на толстый слой чердачной пыли, принюхиваясь к запаху старого дерева, сквозняка и назревающей грозы. Никто здесь не обитал, да и странно было бы ожидать, что вот именно на этом чердаке вдруг поселился какой-нибудь Карлсон. Да и зачем бы? В подвале, может быть, не так свежо и уютно, но зато попрacticalней. Хотя, если бы ему, Пастырю, нужно было выбирать, то он бы выбрал чердак. И к небу поближе, и не каждая сволочь не поленится лезть на верхотуру.

Встав, достал фонарь, покачал динамо, осветил. Ничего. Чердак как чердак: стропила, пыль, хлам какой-то, оставшийся, наверное, ещё от строителей, лет пятьдесят тому. Долдонит по крытой железом крыше дождь.

Добрался до выхода на крышу, дёрнул заржавевшие шпингалеты, потянул ветхие деревянные дверцы-ставенки. За шумной и мокрой занавесью дождя — вот он, как на ладони, вокзал. Чуть отодвинувшись в темноту чердака, поднял к глазам бинокль. «Аист» сидел, скукожась под капюшоном ветровки, положив винтовку на бёдра, спиной к Пастырю. Ему явно было уже не до обзора окрестностей — мечтал только, наверное, дожждаться смены. Шпана...

Пробежался взглядом по железнодорожным путям, по пустынным перронам, по мастерским, блокам, пакгаузам, по мосту, на дальнем конце которого увидел еще одного «пионера», обслуживающего восточные подходы, со стороны Ленинского. Круговую оборону заняли, салажня.

Если до этого и можно было бы увидеть кого-нибудь на площади или платформах, то сейчас, когда дождь набирал и набирал силу, «пионеры» спрятались под крышей вокзала.

Небольшой Михайловский вокзал Пастырь помнил хорошо: два тесных зала на первом этаже, галерея на втором, спуск в тоннель, вечно казённо смердящий туалетами (у вокзальных прокуренных туалетов какая-то своя, особая вонь, не похожая на вонь туалетов в других публичных местах). Спит эта школота, видимо, в зале ожидания; там же, наверное, тусуется и днём. Невидимым подобраться к вокзалу трудно, почти невозможно. Единственный вариант — с юга, по путям, через мастерские, выжидая пока пареньки на крыше и на мосту будут смотреть в другие стороны. Ночью, без света, они ничего не увидят. И луны сегодня, как по заказу, не будет...

«Ну, доберёшься ты до вокзала... А дальше?» — спросил невесть откуда вылупившийся внутренний голос.

Действительно, что дальше?

Сверху саданул гром, едва не оглушив. Рванул ветер, да рванул так, что дождь гулко промчал по крыше густым и длинным зигзагом, прежде чем вернуться к размеренной дробе.

«Ну, положим, проберёшься ты внутрь, в здание, — настаивал голос. — Найдёшь там кучу дрыхнувшей шпаны — те шестьдесят, или сколько их там, человек. Станут ли они слушать твой лепет про сына? Скорей, однако, лупанут по тебе с десятка стволов, со страху-то. Да ведь и говорили тебе уже, два человека говорили, что живым эта шпана никого не отпускает...»

— Но не казнят же они отца своего боевого товарища, — произнёс Пастырь, перекрикивая шум дождя, не отрывая бинокля от глаз и прекрасно понимая, что лукавит сам с собой.

«Казнят. Легко».

— Я Вадьку сразу увижу, позову.

«А если его там нет?»

— Там он! Где ж ему ещё быть-то...

«И его казнят. Шпана же. У шпаны логика пришибленная, ещё хуже, чем у баб».

— Нет. Договориться всегда можно. Хоть с кем.

Вот бы командирчика их определить и скрутить сразу, потихоньку. И поставить шпану перед фактом: ребята, дескать, вот он я, ваш новый полководец — серьёзный взрослый мужик, в натуре. Будете теперь жить по моему уставу, ходить левой-правой и петь «Взвейтесь кострами»...

Да, хорошо бы...

Ладно, справимся. Шпана — она и есть шпана.

Пастырь отложил бинокль, достал из рюкзака банку тушёнки, пиво.

Отужинав, извлёк из рюкзака потрёпанную Библию карманного формата, в мягкой обложке. При свете фонаря долго перелистывал. Улыбнулся «Откровению»: эх, Иоаннушка, знал бы ты, как оно всё на самом деле обернётся!

Долистал до одной из любимых своих книг, до Ездры.

«О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то свершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя приходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделались суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо; уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым...»

Глаза начали слезиться; мелкие букочки в тусклом свете фонаря таяли, расплзались букашками, перемещивались и теряли смысл.

Тогда он отложил книгу, улёгся прямо в пыль, сунув под голову ставший теперь неудобным в роли подушки жёсткий рюкзак, и уснул, дав себе времени до двух часов ночи.

Однако спокойно проспать до установленного часа не удалось, потому что вскоре его разбудил рык и стрекот, доносящийся со стороны вокзала. Очумело выглянув, увидел за уже стихшим и едва морозящим дождём пару слабо освещенных окон второго этажа, фонарь, горящий над входом со стороны путей.

Зашибись... Генератор... Неплохо вы устроились, ребятки! Это, значит, у вас типа штаб

на втором этаже, угу? Однако, вы хоть и шпана, но не совсем же дураки, чтобы гонять дизель всю ночь — негде вам столько топлива набрать. Чтобы к одиннадцати часам заглушили движок, засранцы! И дрыхли! Дядя придёт, учить будет вас уму-разуму...

Пастырь закрыл ставни, чтобы рокот двигателя не мешал спать дальше, улёгся и снова уснул, как по команде, убаюканный дисциплиной и шумом дождя на крыше.

Снилось что-то доброе и светлое, но очень болезненное — потому болезненное, что сонным своим чутьём он понимал: всё доброе и светлое осталось в прошлом. Жалость к прошлому стискивала душу когтистой лапой, выжимала из неё слезу.

Проснулся разом — будто толкнул кто-то в плечо и крикнул: «Вставай!» Поднялся, тщательно выбил из штанов пыль и вытряс куртку. Потом вышел на крышу.

Над городом залегла непроглядная тьма — луны, как и предвидел Пастырь, не было, как не было видно в городе ни единого источника света, так что и догадаться о том, что где-то совсем рядом лежит мёртвое человеческое поселение, никто бы не догадался. И только на вокзале, у выхода на платформу, горел костёр и дремали возле него, скрючившись, двое.

Что интересно, посты шпана на ночь не сняла, будто жили малолетки на осадном положении. И хотя часовые по-детски дрыхли, однако факт оставался фактом: на крыше и на мосту едва различимые во мраке скорчились два силуэта. Если бы не знал, что они там есть, так и не догадался бы. Может и ещё где сидят наблюдатели, а он не догадывается. И это нехорошо.

Дождь перестал. Пряный и одуряющий после минувшей грозы воздух сам врвался в лёгкие, так, что, казалось, и суетиться дышать не надо. Пастырь вернулся под крышу и там потянулся, помахал руками, поделал наклоны, разминая плечевой, спину, поясницу; поприседал, покрутился. Только когда почувствовал, что хорошо разогрел мышцы, только тогда опростал банку тушёнки, запил пивом. Не торопясь, давая еде утрястись и найти своё место в желудке, собрался. Рюкзак, бинокль и даже топорик он решил оставить здесь, а с собой брал только самое необходимое: обрез, штык-нож, фонарь. Распихал по карманам бинты, вату, йод, цитрамон. Свернул и приладил к талии жгут, подсунув его под ремень. Если ранят — это одно, но он ведь и неплохим оружием может при случае стать.

Вздохнул. Огляделся, попрыгал, проверяя не много ли шума производит амуниция.

11. Стрекоза

Несмотря на то, что шёл в логово настоящей и, кажется, неплохо организованной шайки, Пастырь не ощущал ни страха, ни даже особого возбуждения. Если дрожь и пробегала по его коже, то только от ночного холода, закрадывавшегося под куртку, и только пока он не сделал гимнастику. Теперь же, после разминки и быстрого ужина, Пастырь чувствовал себя уверенно, а по мышцам гуляла теплота готовности. Он до самого подбородка дотянул молнию куртки, застегнул кнопки на запястьях, побоксировал, проверяя свободу движений.

Ну что, ребяташки, порезвимся?..

Легко и быстро сбежал по лестнице, не обращая внимания на громкий топот ботинок, который, надо сказать, всё же действовал на психику: любой одинокий звук в брошенном доме, в этом безвременном ушедшем городе, казался чересчур громким, неестественным, лишним; и хотелось замереть, переждать, прислушаться — не слишком ли нервничает город-труп от создаваемого шума.

Выскочив на улицу, тут же едва не растянулся, у крыльца, подскользнувшись на мокрых листьях. Чёрт! плохо. Ботинки не очень приспособлены для диверсионных операций.

Ступая теперь осторожно, стараясь не сильно плюхать по лужам, пошёл вокруг дома, через дворы, чтобы выйти к ограде в паре сотен метров на юг от здания вокзала. Напрягал глаза до боли, до слезы, чтобы хоть что-то разглядеть в кромешной темноте. Какие чёрные стали ночи!

Сейчас, когда пробирался по скользкой слякоти дворов, нарушая тишину шорохом листвы, чавканьем грязи и пыхтением, Пастырь особо остро чувствовал своё абсолютное одиночество в этом вымершем ночном городе. Где-то там, в сквере на Дундича лежала мёртвая и уже, наверное, обглоданная Таня. Блуждал по чёрным улицам или спал под скамьёй наконец-то нажравшийся пёс-людоед. Супруги Как-их-там похрапывали посреди гостиной, в своей вонючей, заставленной коробками с провизией, квартире. Где-то в подвале прятались четыре семьи. А впереди, на вокзале, в зале ожидания вповалку дрыхли полсотни вооружённых до зубов малолеток. И среди них, возможно, его, Пастыря, сын. И все они — живые и мёртвые, люди и нелюди — были где-то там, в утробе мёртвого города, в провале беззвучной тьмы — почти в другом измерении, почти нереальные. Или он, Пастырь, нереален для этого города — Пастырь ему, спящему, просто снится.

Плохо, что за время бардака никто не умудрился лупануть из гранатомёта в этот бетонный забор, идущий вдоль всей территории, от привокзальной площади, вокруг рынка, под стенами пакгаузов, мимо завода металлоконструкций, до самой Брусчатки. Брешь в этой китайской стене была бы кстати.

Он долго скрёб мокрыми подошвами, на которые налипла грязь и листва, по серому бетону, пока, наконец, не умудрился перебраться на ту сторону. Спрыгнул на щебёнку, прислушался. Тишина стояла совсем не вокзальная: ни один сиплый гудок её не прерывал, ни голос репродуктора, ни пыхтение маневрового, ни перестук колёс. Пахло сыростью, креозотом, шлаком, мокрыми шпалами и железом от разбросанных тут и там вагонов и составов. Пахло заброшенностью и ненужностью. Он с детства любил этот вокзальный запах, вокзал был любимым местом мальчишеских игр и конечной целью отроческих бесцельных шатаний с сигареткой в углу рта.

Как давно всё это было!..

До здания вокзала отсюда было недалеко, но Пастырь всё же опасался шуметь, ступал по щёбёнке осторожно и сдерживая дыхание, потому что мало ли что: может быть, эти тимуровцы-корчагинцы и тут посадили наблюдателя. И если часовой сейчас спит где-нибудь в мастерских, так и пусть спит ребёнок, незачем его будить.

Он, крадучись, миновал длинное приземистое здание с выбеленными стенами, завернул за него, чтобы не светиться на путях. Здесь, под прикрытием стен окружающих одно- и двухэтажных избушек, включил фонарь, чтобы не переломать ноги и не загреметь на разбросанных по земле листах железа и кучах металлолома. Держась вдоль, выбирая, куда поставить ногу, петляя, минут десять крался до того места, где забор круто уходил вправо, а за ним расположились заржавевшие ряды привокзального рынка. Впереди замаячили приземистые коробки цехов и мастерских. Он погасил фонарь и вышел на разбитый асфальт, ведущий вдоль перрона к зданию вокзала.

Сколько ни приглядывался, но различить пацана на мосту не сумел, а того, что дежурил на крыше, отсюда видно не было, а значит, и ему внутренняя территория доступна только за границей метров двухсот. В общем, «аиста» можно не бояться. Костёр у входа в вокзал продолжал гореть, но уже не так интенсивно. Наверное, те два чудика просыпались периодически, когда становилось холодно, и подбрасывали в огонь топлива, чтобы потом дрыхнуть дальше.

И это называется дисциплина?.. Детский сад это, а не дисциплина. Всё-таки, шпана — она и есть шпана.

До здания вокзала оставалось не больше метров пятидесяти, ещё одно длинное приземистое здание с зарешеченными окнами, а перед ним — что-то вроде сторожки, маленькая избушка в одно окно, с побеленными стенами. И из этого окна выбивался наружу свет. Да, слабый, едва заметный даже в этой непроглядной тьме. Наверное, окно было зашторено, или свеча горела где-нибудь в глубине помещения.

Пастырь напрягся, замер на минуту, прикидывая свои действия. Можно было, конечно, пройти мимо сторожки, обойти её с тыла или просто проползти под низким окном на четвереньках, но можно было и полюбопытствовать, *что* там, внутри.

И тут из-за угла сторожки донёсся звук. Изначально негромкий, он раздался в глухой тишине совершенно явственно: мягкий стук двери об косяк, обитый, наверное, войлоком. Кто-то зашёл или вышел. В следующий момент скрип насыпанного у входа гравия подтвердил, что обитатель сторожки выбрался на улицу. А вот и осторожно-неуверенные шаги в темноте.

Пастырь тихо вжикнул молнией, на всякий случай наполовину расстегнув куртку, поправил приклад обреза, взял наизготовку фонарь, сделал несколько быстрых нажатий на клавишу. Жужжание динамо показалось громом небесным, но за домиком его не могло быть слышно. Тогда он сделал три быстрых шага, на цыпочках, к углу, замер на секунду, чтобы вдохнуть, потом включил фонарь и одним резким движением ступил вперёд, в последний момент услышав новый звук — журчание льющейся воды.

Когда он вдруг вывернул из-за угла и осветил фонарём источник звука, присевшая по своим делам девчонка, наверное, обалдела — взвизгнула, зажмурилась, защищаясь от света выставленной вперёд рукой. Пастырь быстро отвёл луч от её лица в сторону, упёр его в землю между собой и ею. Потом выключил, потому что она оставила дверь сторожки открытой, и из помещения падал слабый свет керосинки. Минуту или две они ошарашенно

рассматривали друг друга в полумраке. Девчонка, кажется, быстро справилась с первым испугом и, проморгавшись, задорно произнесла:

— Привет, дядь.

— Угу, — прохрипел он.

Она отошла от первого испуга — снова зажурчала.

Закончила, но продолжала сидеть. Лет пятнадцать-шестнадцать, коротко — почти под мальчишку — стриженная, в темном свитере; джинсы приспущены до колен, белые кроссовки на ногах, красная бандана на голове.

— Может отвернёшься? — наконец произнесла она недовольно. — Я ещё какать буду.

Пастырь смущённо покашлял, отвернулся, ссутулился от неудобства ситуации. Надо бы, конечно, отойти за угол, но...

Через пару минут тихого сопения и шуршания одеждой девчонка хохотнула:

— Ладно, поворачивайся уже.

Он повернулся.

Пистолет она уверенно держала двумя руками, целясь ему в голову, весело улыбаясь. Пастырь озадаченно хмыкнул.

— Ты кто, дядь? — спросила она.

— Я ваш новый вожатый, девочка, — откашлявшись, произнёс Пастырь.

— А-а-а, — улыбнулась она. — А ты не педофил, случайно?

— Тебе нужно ручки помыть, — сказал он.

— Зануда. Плохой вожатый. Как зовут?

— Пастырь. Подходящее погоняло, да же? А ты кто будешь?

— Я не буду, я — есть. Зря ты пришёл, дядь.

— Это почему же?

— Потому что я тебя убью.

— А что ж так?

— Закон такой.

— Кто издал?

— Да не один ли фиг, — весело тряхнула она головой. — Ну что, я стреляю?

Сказано было просто — так, как девчонка спросила бы у отца: «Ну что, по мороженому?» И не поймёшь, то ли она этак шутила, то ли всерьёз.

— Хм... — Пастырь дёрнул бровью. — А если я не один?

— А ты не один?

— А ты представь.

Она задумалась на минуту...

Вот сейчас. До неё три шага. Луч фонаря в глаза, сделать кувырок вперёд и в сторону, подсечка. Она и сообразить ничего не успеет. Если не забоится, может и шмальнёт разок, но ведь всё равно промажет. А девчонку взять неплохо было бы, для возбуждения сговорчивости в ребятках. Ребятки-то, похоже, серьёзные, хоть и шпана.

Она будто почуяла, или вспомнила что-то, велела:

— На колени, руки за голову!

Пастырь усмехнулся. Но видя, как посерьёзнело её лицо, послушно положил руки на затылок и медленно опустился на колени.

В следующий момент она быстро дёрнула стволом вверх, пальнула, вернула ствол обратно, беря в прицел голову Пастыря. Он невольно вздрогнул от выстрела, матюкнулся.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Фи! — наиграно покривилась она. — Вожатый, а матерится.

Сейчас на её сигнал прибегут мальчиши-плохиши — это ясно же. Надо действовать.

— Так у тебя пистолетик не игрушечный, что-ли? — Пастырь удивлённо поднял брови. — Ай-яй-яй, девочка, разве можно детям носить настоящее оружие!

— Типа крутой, да? — произнесла она, дёрнув губами. — Ничего, Хан тебя быстро...

— Хан? — переспросил он, готовясь, прикидывая расстояние. — Это кто?

Но девочка была не проста. Она уловила что-то в блеске его глаз, сделала шаг назад, выходя за границу света, падающего из каморки. Ответила тихо и напряжённо:

— Узнаешь.

— Я сына своего ищу, — сказал Пастырь, прикидывая, как бы можно было её обезоружить. — Вадиком зовут.

Сейчас между ними было метра три. Заговорить зубы, рвануться в сторону, выдёргивая обрез?.. Но стрелять в неё Пастырь не будет, не-а, не будет. Стрельнуть в эту девчонку — это же... это... Нет!

— Не там ищешь, — отозвалась она.

А добраться до неё сейчас он вряд ли сможет. А пока сможет, так она пальнуть успеет пару раз. Пулять будет в панике, но чёрт его знает — вдруг, попадёт.

— Он в лагере был. В Сосновке, — говорил он между тем. — Ровесник твой, наверное. Ему вот-вот шестнадцать стукнет...

Можно продавить психику, но это долго, а тут с минуты на минуту будут её кореша. Фонариком ей в голову?.. Синяк будет, ну в худшем случае приконтузит немного...

— Там многие были, — ответила девчонка с нарочитой ухмылкой. — Они и сейчас там.

Интонация последних слов нехорошо кольнула. Недобрая девочка. То ли слишком повзрослому циничная, то ли...

Пастырь крутнул в руке фонарь, поворачивая его ребром, удобно перехватывая пальцами за выступ светильника.

— Тебе никто не сказал, что сюда нельзя ходить? — спросила она.

— А что такое? — удивился он, примеряясь бросать.

Со стороны платформы послышался топот бегущих ног, потом мальчишеский голос окликнул:

— Стрекоза! Позвучи!

Стрекоза небрежно уклонилась от летящего ей в голову фонаря (на самом деле — нет, не в голову, высоко взял), опередив Пастыря на долю секунды. Ему несподручно было бросать, и торопился уходить в сторону, так что прочитать начало его рывка успела бы и кенгуру, а прицельность оставляла желать лучшего.

— Здорово! — иронично произнесла Стрекоза, когда он, сделав кувырок влево и вперёд, больно ударившись плечом о какую-то железяку, поспешно вскочил и тут же зацепился ногой за торчащий из земли металлический прут, едва не повалившись обратно.

— Я репетировал, честно, — буркнул он, шипя, растирая голень и благодаря бога, что девчонка оказалась не истеричкой и не начала палить, а то сняла бы с одного выстрела, пока он тут из себя Рембо изображал. Ниндзя хренов...

— Стрекоза! — позвал тот же голос и тут же произнёс недоумённо: — Оппачки!

Из-за угла вывернули трое пацанов. Когда они ступили в слабое облако света от сторожки, Пастырь смог их немного разглядеть. Самому старшему годиков — как Стрекозе,

как его Вадьке. Ну, может, постарше на год. И, хотя ростом особо не вышел, но крепкий. Двум другим от силы лет по четырнадцать. Все в банданах. У старшего в руках «калаш», у младших — «макарычи»; один ещё держит горящий факел.

— Мясо! — восторженно продолжал старшой. — Здорово, мужик!

— Здравствуй, мальчик, — кивнул Пастырь.

Салажня прыснула, старший загоготал.

— Прикольно! — хмыкнул он, подходя к пленнику. Подойдя, остановился, чтобы на секунду заглянуть в глаза, и внезапным незаметным движением пнул Пастыря в колено. Отрок был в кроссовке, поэтому, хотя и попал он хорошо, но Пастырь устоял. Только нога предательски слабо задрожала, но он не позволил ей подломиться.

— Не пинай меня больше, мальчик, — усмехнулся Пастырь. — А то я тебя ударю и убью. Нечаянно.

Пацан, не отвечая, потянул сквозь зубы воздух, ощерился, двинул автоматом в живот. Ну, это пожалуйста, это сколько угодно: Пастырев пресс не всякий мужик пробьёт. Он снова усмехнулся, глядя на малолетку сверху вниз. А тот недобро стрельнул глазами, отошёл к Стрекозе, которая уже спрятала пистолет за пояс джинсов, стояла, сложив руки на груди и улыбаясь. И непонятно было, то ли она своей улыбкой подыгрывает этому щенку, то ли насмехается над его беспомощностью.

— Откуда этот бык тут взялся? — спросил у неё шкет.

— Говорит, наш новый вожатый. Пастух его зовут.

— Только не Пастух, а Пастырь, — поправил варнак.

— А-а, — протянул пацан, потянув носом и сплёвывая, старательно изображая из себя взрослого деловитого парня.

— Угу, — кивнула Стрекоза. — Весёлый дядик.

— Главное — здоровый, — непонятно и гнусно усмехнулся шкет, оглядывая массивную фигуру Пастыря. — Ну чё, мужик, пойдём. Повеселимся.

— Пойдём, — кивнул Пастырь, перенося вес на подбитую ногу, проверяя, не захромает ли. Впадлу было бы хромать перед этими...

12. Ханство

Двое младших по бокам, старший сзади, они повели Пастыря по платформе в сторону вокзала, из которого уже высыпала кучка шпаны. Стрекоза осталась в сторожке ждать смену. Маячил проснувшийся часовой на мосту, «аист» тоже подошёл ближе к краю крыши, чтобы видеть перроны, и теперь через оптику разглядывал идущих.

Боеготовность у шпаны так присутствовала. На сигнал Стрекозы подмога прибыла довольно быстро и заспанного вида не имела. Нельзя недооценивать потенциального противника. Его лучше переоценить.

Противник?.. Мелюзга.

Однако, зубастая мелочь-то.

Пастырь с интересом рассматривал кодлу, собравшуюся у раскопегаренного костра: человек пятнадцать, в основном совсем мелкота, лет по десять-тринадцать, но есть и двое взрослых — по виду не меньше семнадцати. Оба с автоматами на плече, в трениках и мешковатых куртках, в кроссовках. У всех на головах банданы, все коротко или под расчёску острижены. Подходящих они встречали полной тишиной, любопытными взглядами. Уже когда Пастырь поднялся на плиты площадки перед вокзалом, кто-то из шпаны присвистнул:

— Во горилла!

Подвели к костру, шпана раздалась, окружая, с любопытством разглядывая. Старшие встали напротив, оценили взглядами фигуру, лицо.

— Это чё за перец? — спросил один — плотный, прокачанный, с недавним шрамом над бровью.

— Пастухом зовут, — ответил старший из конвоиров, выступая вперёд, присаживаясь у костра, прикуривая от головешки сигарету. — Стрекоза его почикала.

— Не хило, — кивнул второй. — А почему не завалила?!

— Ну ты у неё и спроси, — огрызнулся конвоир.

— Спрошу.

Он подошёл к Пастырю, рывком опустил молнию его куртки.

— Ни х*** себе! — воскликнул, вытаскивая из петли обрез. — Эй, Чомба, ты его не шмонал, что ли? Смотри!

Конвоир обернулся, присвистнул.

— Х***ли ты свистишь, урод! — прикрикнул первый, вынимая из петли штык-нож и бросая к костру. Сорвал сумку с патронами, быстро и умело обыскал, выбрасывая на асфальт медицину. Только жгут из-под ремня не снял — не заметил, или не понял, что это такое. Неприязненно бросил Чомбе: — В наряд пойдёшь за тупость, лох!

— Слышь, Меченый, а чё я-то, — оскалился Чомба. — Его Стрекоза взяла.

— Реальный лох, — кивнул Пастырь. — Стрекоза грамотная девка, а этот — лох.

— Тебя кто-то спрашивал, мясо? — прищурился старшой.

Он по-деловому, небрежно рубанул Пастырю поддых. Удар был резкий, тренированный, хорошо поставленный, со скруткой, с выдохом и без заноса. Ожидалось, что Пастырь сейчас сложится пополам, хватая ртом воздух. Пацан даже отвернулся и отошел деловито, для пушшего эффекта. Но Пастырь принял удар шутя. На зоне его покрывками били и — ничего, только с ног сбивали.

— И я не Пастух, а Пастырь, — сказал он спокойно, как будто ничего не произошло,

даже не взглянув на бившего. — Пришёл проситься в вашу шоблу.

Второй встречавший гоготнул, произнёс почти одобрительно:

— Мощный бык.

Вслед за ним загоготала шпана — над удивленным видом Меченого и над репликой Пастыря. И только Чомба, змеёныш, смотрел в прищур, курил и сплёвывал в костёр. Злобный гадёныш, сразу видно.

Сила — штука такая, силу все уважают. Особенно же — вот такие кодлы. Силу и невозмутимость. Хотя тоже важно не перестараться, а то можно взбесить, и тогда набросятся и забьют — из упрямства, из желания доказать, что сильнее. Нужно временами показывать, что ты не супермен, что тебе тоже страшно, что ты признаёшь их стаю. Тем эффективней будет смотреться равнодушное спокойствие.

— Ага, — озадаченно согласился бивший. — Хану он понравится.

— Да хан его заломает как нех*** делать, — выдали из толпы.

— Не матерись, мальчик, — обратился Пастырь к говорившему, пацану лет десяти, глазастому и юркому. В толпе заржали.

В вокзальной двери показался выбритый наголо пацан лет четырнадцати, с факелом.

— Ну, долго вы? — бросил он старшим. — Хан ждёт.

Всей кодлой Пастыря завели в здание вокзала. Налево пустующий и тёмный кассовый зал. Направо — зал ожидания, освещённый факелами, приделанными к стенам. Все кресла собраны и расставлены вдоль трёх стен. Четвёртая занята кое-как сколоченными нарами на которых набросаны матрацы и тряпьё, рядом стоят несколько столов из вокзального буфета. В центре зала, в кресле, раскинулся парень лет восемнадцати-двадцати, крепко сбитый, плечистый, жилистый, с косичкой, с лицом то ли киргиза, то ли узбека, в черных шароварах, в черной спортивной куртке с капюшоном. Сидел и разглядывал покрытые тёмно-зелёным лаком ногти на руках. Вокруг и позади него расселись прямо на полу человек двадцать — пацаны и девчонки самого разного возраста, но в основном взросленькие уже, от четырнадцати до семнадцати. Все в неизменных красных банданах; у тех, кто с голыми руками, видна на запястьях одна и та же татуировка в виде заполненного чем-то круга. Пастырь с надеждой обежал взглядом их лица, но никого похожего на Вадьку в неверном свете факелов не увидел.

Его подвели, поставили перед Ханом, окружили. Один из старших сопровождающих вытолкнул вперёд Чомбу, заставил его опуститься на колени, положил перед ханом обрез, штык-нож, патроны.

Хан молча посмотрел на стоящего на коленях, перевёл взгляд на старшего. В сторону Пастыря он даже не покосился.

— Не обшмонал, — пояснил тот, что принёс оружие.

Хан кивнул.

— Двадцать, — произнёс он спокойно, почти равнодушно. — И в колхоз на трое суток.

— Хан, я не... — загундел было Чомба, но ему не дали договорить, подняли за шкуру, утащили.

В полной тишине Хан ещё пару минут внимательно рассматривал ногти. Потом, наконец, вздохнул, уставился на Пастыря. Взгляд равнодушный, ничего не выражающий, даже скучающий, словно стоящий перед ним массивный орангутаноподобный мужик давно уже набил оскомину. Пастырь холодно и спокойно встретил взгляд его чуть раскосых глаз. Пару минут они разглядывали друг друга. Наконец варнаку надоела эта бессмысленная игра

в гляделки. Парень был с характером; Пастырь понял, что взглядом его не задавишь, что он фигура действительно серьёзная — пожалуй, единственная пока серьёзная фигура во всём этом сборище. Варнак, усмехнувшись, перевёл глаза на окружающих:

— Здравствуйте, дети.

Хан стрельнул взглядом куда-то за спину Пастырю, и оттуда немедленно прилетел удар по почке. Пастырь хэкнул, перекосясь на бок, переводя дыхание, морщась.

— Запомни, мясо, — изрёк Хан. — Говорить ты будешь только когда я тебя о чём-нибудь спрошу.

Голос у него был несообразно комплекции высокий; говорил он без акцента, небрежно, без выражения, а сказав, снова принялся лениво разглядывать ногти. Позёр хренов.

— Ну так спрашивай, — ухмыльнулся Пастырь. — Поболтаем.

И тут же, получив удар в затылок — автоматом, наверное, — повалился вперёд, на колени. Затряс головой, отфыркиваясь, как конь. На ладони, которой он ощупал затылок, осталась кровь. Поднялся, обернулся посмотреть, кто его бил. Это был всё тот же, что врезал ему поддых у костра — Меченый. Пацан бегло улыбнулся в ответ на взгляд Пастыря, развязно подмигнул.

— Зачем пришёл, разбудил нас? — спросил наконец Хан, отрываясь от ногтей, которые зелёно поблескивали в тусклом факельном свете.

— Хочу быть в вашей шайке, — отозвался Пастырь. — Заодно посты проверил.

Никто не засмеялся, не произнёс ни звука. Здесь можно было звучать только по команде Хана или вслед за ним. В лице главаря ничего не изменилось.

— На крыше часовой — спит, — продолжал Пастырь. — На мосту — спит. Одна Стрекоза не спала, да и то, может, потому что пописать захотела.

Этого восемнадцатилетнего козла нужно сломать. Но сломать его будет нелегко, а может, они и вообще шанса такого не дадут. Но если дадут, нужно внести в ряды этой шпаны сумятицу и хаос, дать им понять, что командует ими неумелый лох и балбес, что Пастырь — это как раз тот человек, который им нужен.

— У нас не шайка, — спокойно проговорил Хан. — Ты не ответил на вопрос. Зачем пришёл сюда? Сюда никто *оттуда* не ходит.

— А я не *оттуда*, — улыбнулся Пастырь. — Я — туда.

Удар автоматом пришёлся по ключице. Боль была зверская. Пастырь, морщась, покрутил плечом — проверил, нет ли перелома. В лицах многих из сидящей вокруг шпаны он с удовлетворением заметил удивление и почти восторг.

— Зря ты так, мясо, — спокойно констатировал вожак. — Может, кого-нибудь из младших ты и удивишь своей крутизной, но зачем тебе это? Ты умереть пришёл?

— Да нет, пока не собираюсь, — постарался улыбнуться Пастырь. — Просто хотел к сыну поближе быть, если честно.

Шайка оживилась, запереглядывались, зашептались.

— А яснее? — в голосе Хана впервые зазвучало что-то похожее на интерес. Он достал из кармана шаровар пачку сигарет. Кто-то из сидящих на полу, поблизости, услужливо чиркнул спичкой, поднёс.

— Сына ищу, куда яснее-то, — охотно ответил Пастырь. — Он в лагере был, в Сосновке.

— Хм, — Хан пару раз затянулся, потом обвёл рукой зал. — Здесь все. Почти. Видишь его?

— Нет, — покачал головой Пастырь.

— Есть ещё десяток человек — на постах и в нарядах. Как зовут?

— Вадька. Вадим. Пятнадцать лет.

Хан вопросительно посмотрел на одного из сидящих рядом. Тот пожал плечами, отрицательно помотал головой:

— Двух Вадиков знаю, — сказал он, кивая в толпу. — Оба здесь. Салаги.

— Слышал? — обратился Хан к Пастырю.

Тот кивнул, до боли сжимая зубы, так что желваки прокатились под щеками как два камешка. Нет Вадьки. Нет...

— У нас вообще-то имён нету, — медленно и жёстко проговорил Хан. — У нас будет другая жизнь, в которой те погоняла, которые дали вы, ублюдки, нам не понадобятся.

— Мы, ублюдки — это кто? — Пастырь мрачно заглянул в раскосые глаза.

— Вы, старичьё, которое просрало этот мир, — произнёс Хан заученную фразу. — Вы всё просрали и за это ответили. Из-за вас, из-за вашей тупости, эгоизма и жадности, всегда страдали и мы. И теперь почему-то должны страдать. Ну, ничего. Скоро всё кончится. Остатки вас передохнут, и тогда начнётся наше время.

— Угу, — кивнул Пастырь. — И вы будете другие — лучше и мудрее нас.

— Да, — серьёзно кивнул Хан, игнорируя иронию.

Так значит ты, чурбан недорослый, Тохтамыш хренов, не просто царёк здесь, — подумал Пастырь. Ты, стало быть, идеолог нового мира? Ну-ну...

— Сначала *город* этот будет наш, — продолжал Хан. — Потом вся страна. Мир.

— Ух ты! — ухмыльнулся Пастырь.

— Болячка, которую вы придумали, вас же и уничтожила, — Хан кивнул. — Потому что вы больше не нужны. Вы зае**ли!

Он бросил окурок под ноги, придавил, потянулся, похрустел пальцами.

— Ладно, мясо, с тобой всё ясно. Надо идти спать.

— А с ним что? — спросил кто-то сзади.

— Завтра решать буду, — отозвался Хан. — Сначала покажем ему остальных. Потом решу.

— А пока — в мясницкую?

— Ещё чего! В загашник. И часового.

Шпана начала подниматься, кто-то потянулся к нарам, кто-то на улицу — курить, а те, что постарше, пошли вслед за Ханом на второй этаж. Один из тех же двух конвоиров ткнул Пастыря в спину стволом, прикрикнул:

— Давай, бычара, двигай!

Его провели через тёмный кассовый зал, через дверь в административную зону — в помещение полицейской дежурной части, тесное, два на два, с выбитым окошком у пульта, с кособоким письменным столом и парой стульев. Там втолкнули в тёмный обезьянник, задвинули задвижку на решётчатой двери, навесили замок, взятый из стола. Разожгли стоящую на столе керосинку.

Можно было, конечно, по дороге стукнуть их лбами, забрать «калаш» и пойти наводить шухер. Но Пастырь не торопился. То, что можно, по идее, решить миром, нужно попробовать решить миром. А шансы на мирный исход есть. Какие-нибудь шансы всегда есть. Не стрелять же в эту мелюзгу, заигравшуюся, пляшущую под дудку двадцатилетнего уroda.

Трещала голова, затылок распух. Ныло плечо. Пастырь опустился на скамейку у стены, поморщился, поматерился немного шёпотом.

Минут через пять подоспел охранник — шкет лет пятнадцати, щуплый, белобрысый и недовольный тем, что придётся сидеть тут вместо того, чтобы спать. Из провинившихся, наверное. Сопровождавшие похлопали часового по плечу, ушли.

— Здравствуй, мальчик, — поприветствовал Пастырь пацана.

— Да пошёл ты, — отозвался тот.

— Да как же я пойду, — усмехнулся Пастырь. — На двери-то — замок.

— Заткнись ты, мясо, — окрысился пацан, падая на табурет, кладя на стол «макарова». — Заключённым разговаривать нельзя.

— Почему вы зовёте меня «мясом»?

— Ты и есть мясо.

— В каком смысле?

— Во всех. Иди нах, короче.

Пастырь несколько минут разглядывал пацана через решётку. Салага откинул голову на стену, закрыл глаза, дымил сигаретой, подёргивал ногой, мычал что-то себе под нос, старательно кося под крутого отвязного парня.

— Нехороший ты, пионер, — огорчённо произнёс варнак, укладываясь на скамейку — спать.

Пацан приоткрыл глаза, с деланной иронией посмотрел на Пастыря. Выпуская дым, сплюнул сквозь зубы. Ничего не сказал.

13. За светлое будущее

Спалось плохо, беспокойно; снилась всякая дрянь. Проснувшись, как обычно, в половине седьмого, Пастырь посмотрел на охранника. Тот дрых, упав головой на стол, распластав по нему руки, едва не уронив пистолет на пол. По вокзалу стояла тишина если не считать редких крысиных или мышиных шорохов да кашля, едва-едва доносящегося сюда из зала ожидания. Пастырь сел на скамье, помассировал отлёжанную шею, потряс головой. Потом размялся потихоньку, стараясь сильно не пыхтеть, чтобы не разбудить своего охранника. Сел на скамью, прижался затылком к холодной стене обезьянника.

Хан... Серьёзный юнец, или очень хочет таким казаться и натягивает на себя маску батышки Махно. Кто он? Ему самое меньшее восемнадцать, а скорей и все девятнадцать-двадцать. Если он и из лагеря, то был там, наверно, кем-нибудь типа вожатого. Или из обслуги. Он или не он затеял в лагере шухер, но без него, скорей всего, не обошлось. Теперь собрал вокруг себя шпану, загадил им мозги какой-то дрянью, какой-нибудь наспех придуманной теорией, собранной из своих обид, бессилия и дури. Использует их как хочет. Хотя... как он может их использовать? Какая ему польза от них? Разве что, они — его шанс выжить, въехать в рай на их тощих мальчишеских закорках; хоть какая-то видимость стены, за которой он прячется.

Внезапно Пастырь прочувствовал и понял, что по сути он не имеет права вторгаться в судьбу этой шпаны. Дети выживают, как могут, цепляются за жизнь. Они, вполне естественно, сбились в стаю, держатся друг за друга. Разбей эту стаю, разбросай их по одному-два, и они погибнут. Какими бы идеями ни руководствовался Хан, однако именно благодаря ему все эти пионеры пока ещё живы; он держит их как умеет, они нужны ему. Они прикрывают его жизнь, а он организует их и даёт им хоть какую-то дисциплину, без которой ватаге не выжить — вот такой симбиоз.

Предположим, Пастырь влезет в их дела, освободит их от царька, поубивает самых отпетых, даст шпане волю. И что?.. Да ничего. Они погибнут. Вся эта шелупонь десяти-шестнадцати лет погибнет. А если кто-то и выживет, то только потому, что найдёт себе нового хана. Таков закон: стае нужен вожак, и чем вожак опытней, тем больше у стаи шансов выжить. Самый опытный (по крайней мере, кажется таким) здесь — Хан. Если убрать Хана, нужно самому стать вожаком этой кучки малолеток и повести их к светлому будущему. Но ему это не надо. Пастырь не воспитатель; не готов и не хочет им быть. Максимум, что он мог бы себе позволить, — это наладить с пионерами дипломатические отношения, если бы остался в Михайловске...

А ведь эта кучка подростков — действительно будущее. Не всей страны, конечно, но как минимум одного конкретно взятого района. Это они заселят город, когда всё уляжется. Это они будут плодиться и размножаться (Пастырь насчитал вчера не меньше десятка девчонок) здесь, создавая новое человечество — устанавливая свои законы, осваивая законы жизни в новых условиях и практически с нуля; защищая своё племя от пришлых, переосваивая, перестраивая, переучиваясь, переосмысливая, пере... А Пастырь здесь лишний. Он не нужен им, как и они не нужны ему — слишком они разные. Конфликт поколений, туда его в заднюю дверь... И вообще, Хан ясно дал понять, что Пастырь — пережиток прошлого, один из тех, кто всё сломал, испортил. Мясо, одним словом.

Поэтому, если среди пионеров Вадьки действительно нет и никто о нём ничего не

знает, Пастырю нужно тихо-мирно уйти от них и двигать в Сосновку, в лагерь. И дай бог ему не найти там Вадьку среди мёртвых!

Уйти... Отпустят ли?.. Вряд ли...

И всё бы ничего... Ладно, вы — будущее; ну и хрен с вами, живите. Но ведь вы, сучёныши, неправильно свой мир строить начинаете — не так и не с того. Вы ведь с того начали, что людей убиваете, воды их лишаете, шансов и права лишаете. Вы с того начали, что убиваете, добиваете своё прошлое. А ведь говорил же Расул: если ты сегодня выстрелишь в прошлое из пистолета, то завтра будущее выстрелит в тебя из пушки. А значит, нет у вас будущего, пионеры. Не-а, нет...

Ну, а что ты хочешь, выживает сильнейший, известно же. Диалектика, туда её в заднюю дверь, и закон природы. А против её законов переть — гнилое дело, как показывает практика.

Так что же, правильно, значит, пионеры живут?..

Чёрт его знает. Старой жизни не стало, а новая должна, наверное, житься по *новым* правилам. Бог тоже новый завет дал, когда ветхий реально обветшал...

Часовой проснулся в начале девятого — вздрогнул, подскочил, очумело глядя на обезьянник, шаря рукой по поясу в поисках оружия. Приснилось, видимо, что-нибудь недоброе. Приснился, наверное, Пастырь, выходящий из клетки, чтобы свернуть ему голову.

— Что, мальчик, — не удержался варнак, — кошмары снились?

Тот молча уселся на место, сунул в зубы сигарету, принялся тереть глаза и лицо, чтобы не видно было, что спал.

— А я всё равно расскажу, что ты дрых, как сурок, — усмехнулся Пастырь. — Никакой дисциплины!

Сосунок прицелился в Пастыря из «макара», произнёс «д-дыщ-щ-щ!», прикурил сигарету.

— Кто тебе поверит, мясо, — пробормотал он, но в голосе его не было особой уверенности, а только бравада.

Удавить бы тебя, щенок. Взять двумя пальцами-клешнями за горлышко и придавить — сначала слегка, чтобы ты обделался со страха, пионер грёбаный. Чтобы тут же и забыл ты, *что* такое пистолет и как из него в людей целиться, а помнил бы только как зовут твою мамку, какие пирожки она тебе пекла к обеду, да ещё правописание гласных после шипящих. Придавить, забыв, что не ты виноват в том, что у тебя в руке пистолетик, а не учебник геометрии; забыв, что ты ещё ребёнок...

Ладно, спокуха. Живи покуда, *пионэр*. Жизнь тебя сама придавит...

В девять пришли два вчерашних конвоира — привели смену караульному и полтора десятка пацанов разного возраста, бывших в нарядах. От них в тесной камере сразу стало суетно и шумно. Вадьки среди них не было. Пастырь молча покачал головой в ответ на вопросительный взгляд одного из конвоиров, хотя тот и сам уже всё понял: ясно же, что Вадька заорал бы от радости, увидев отца.

Или не заорал бы? Может, у них тут уже *всё* по-другому, а?..

— Часовой дрых, — сообщил Пастырь, когда вся компания собралась уходить. — Доложите Хану. Проснулся минут сорок назад.

— Э, ты чё, олень! — заорал постовой, оскалась. А в глазёнках — испуг. — Меченый, не слушай, — добавил он, обращаясь к тому, что вчера бил Пастыря.

Тот посмотрел в глаза варнаку, заглянул в глазёнки часового.

— Ладно, Дрысь, не суетись, — бросил он расхожую, наверное, фразу, значение которой было известно всем, потому что пацанва понимающе загоготала. — Разберёмся.

Едва гурьба ушла и гомон пацанов затих в залах, откуда-то прибежала заполошная девчонка, шустрая четырнадцатилетняя салага.

— Привет! — бросила она Пастырю и уселась на коленки новому часовому — пареньку лет шестнадцати. Прежде чем Пастырь успел что-нибудь ответить, они уже всюцеловались. Минут пять Пастырь наблюдал эту картину, безмолвно чертыхаясь на их пыхтение и чмокание. Потом, когда пацана, видать, забрало и руки его полезли под девчоночий свитер, та резко слезла с его колен, бросила «ладно, я на кухню», подмигнула варнаку и, ощупывая прикушенную губу убежала, махнув дружку рукой, оставив его сидеть с торчащим под трениками стручком.

— Разврат! — проворчал Пастырь, осуждающе качая головой. — Ну, пионеры, блин...

— Чего ты там бормочешь? — спросил часовой.

Пастырь отмахнулся.

14. Хан

Они с часовым, по кличке Тоха, только-только начали находить точки соприкосновения, только пацан успел рассказать, что он из Михайловска и жил почти рядом с Пастырем, на Мурманской, как явился Хан — один, без свиты.

— Что за базары? — хмуро обратился он к часовому.

Тот поник, отмолчался, по знаку Хана вышел из дежурки. Царёк проводил его глазами, переставил табурет ближе к решётке, неторопясь уселся, уставился на Пастыря ничего не выражающим взглядом.

Несколько минут молча рассматривали друг друга. Это была уже не дуэль взглядов — они только оценивали и примерялись. На мускулистой груди этого коренастого кривоногого казаха, или кто он там, под расстёгнутой до половины серой рубахой, виднелся свисающий почти до живота православный крест на золотой цепочке. И без того неширокие глаза от прищура совсем слились в щёлочки, под впалыми смуглыми щеками гуляли желваки.

Хан вытянул из кармана пачку «Донского табака», спички. Неторопливо раскурил сигарету, протянул пачку варнаку; тот отрицательно покачал головой. Пастырь не торопился начинать беседу, понимая, что Хан не просто так сюда пришёл. Чего суетиться языком, если ясно, что у царька к нему разговор.

А тот быстро затягивался, озирая угловое помещение дежурки, кое-как освещаемое тусклым светом керосинки, сплёвывал, скрёб щетину на скуле.

— Нет у нас твоего сына, — сказал он наконец, выпуская из носа дымные струйки.

— Угу, — кивнул Пастырь.

— Сам из Михайловска?

— Из.

— А что так долго не приходил?

— Идти было далеко.

Хан дёрнул бровью, вдавил окурок в окрашенную синим стену, помахал рукой, разгоняя химическую вонь, буркнул:

— Поясни.

Пастырь в двух словах рассказал ему, кто он, откуда и как.

— Не врешь, — кивнул Хан, который всё это время внимательно слушал, не сводя с лица варнака своих чернооких щёлочек. — Это хорошо.

Пастырь пожал плечами: а чего мне врать-то. А главное — перед кем.

— Ты, значит, много видел, — задумчиво произнёс Хан. — Можешь сказать, сколько живых осталось?

— Я их не считал. Но мало.

— Это хорошо, — кивнул Хан и ответил на удивлённый взгляд варнака: — Меньше народу, больше кислороду. Большую войну мы не потянем.

— А ты воевать собрался? — удивился Пастырь.

— Придётся, — невозмутимо кивнул Хан. — Всяко разное — придётся.

— А зачем?

— За жизнь. За новую жизнь. Будут несогласные. Все ведь не умрут. А жить хотят все. И жить хотят лучше других, и чтобы никто не мешал.

Да он больной, — подумал Пастырь, — просто больной. А вслух сказал:

— Новый мировой порядок?.. Михайловск — столица нового мира. На мировом престоле — юный сын калмыцкой степи император Хан. Полста хмурых пионеров с калашами в руках стоят за его спиной у порога новой жизни.

Хан не обозлился. Усмехнулся слегка, жёстко глянул в глаза.

— Ты этого не увидишь, мясо.

— Да уж не хотелось бы.

— Не увидишь.

— Убьёшь? — Пастырь прищурился с ухмылкой.

— Да, — просто и коротко ответил Хан.

— Почему?

— Не почему, а — зачем.

— Зачем?

— Пацанам есть надо. Но это не сегодня и не завтра, не ссы. У нас ещё две собаки в запасе.

— Ну, ладно.

Замолчали. Хан всматривался, надеялся, наверно, увидеть страх в глазах варнака, искал слабинку.

— Ты, мужик, зла на нас не держи, — сказал он через несколько минут молчания. — Мы ведь тебя сюда не звали, ты сам пришёл.

— Базара нет.

Накинуть бы тебе сейчас на шею жгут, обвитый вокруг пояса. Он прилипнет сразу, стянет. Опешишь ты, выпучишь свои узкие бурятские глазёнки, задёргаешься, раскрыв рот, попытаешься заглотнуть воздуха...

Если бы не решётка...

— Сегодня суд будет. Заодно и про тебя порешаем, — кивнул Хан, раскуривая новую сигарету.

Суд?! Интересно-то как!

— Суд? — улыбнулся Пастырь. — А адвокат у меня будет?

— А как же, — пожал плечами Хан, словно не замечая иронии. — У нас всё серьёзно, мужик. Ты не думай, что мы просто банда какая.

Да нет, конечно, вы не банда. Орда.

— И за что судить будете?

— За преступления против жизни. За шпионаж и... этот... — царёк поводил глазами, вспоминая слово. — Саботаж, короче.

— Вона как... И что будет, если меня оправдают?

Хан подавился смешком, похлопал себя по животу, запустил в камеру струю табачного дыма.

— Ты больной? — спросил насмешливо. — Кто ж тебя оправдает!

— Ну а вдруг.

— Хм, — Хан задумчиво посмотрел варнаку в глаза, покачал головой, улыбаясь. — Тогда пойдёшь, откуда пришёл. Только без руки без одной.

— Чего?

Хан развёл руками.

— Да, — подтвердил он. — Такая пошлина у нас.

И добавил, снимая все неуместные вопросы и недовольства:

— Пацанам есть надо. А тебе без руки удобней будет.

Так вот оно что. Это, стало быть, Михая судили и оправдали, что ли? Взяли «пошлину» и отпустили?

А хан изучающе посмотрел в лицо долгим взглядом, дёрнул губами.

— Я бы тебя судить не стал, мясо, — сказал он. — Кончил бы тебя да и всё. Опасный ты. Но закон есть закон, не мне его нарушать. Ты — отец. Пацаны это чувствуют, ты им понравился. А мне это не надо. Потому что не наш ты, не правильный. Так что на оправдание не рассчитывай, мужик. Готовься к смерти.

— А давно готов, — мотнул головой Пастырь.

— Угу... Тебе — верю. Обижаться не будешь?

Пастырь усмехнулся.

— А если обижусь, то что?.. Весёлый ты парень, Хан! — сказал он.

«Хитрый, гадёныш!» — подумал, покусывая губу.

— Я не весёлый, — между тем отвечал Хан, каменея лицом. — Я жёсткий и справедливый. Иначе нельзя. Ни с вами, ни, — кивок в сторону зала, — с ними. По тебе же видно, что ты не дурак, мясо. Ты всё понимаешь. Ты бы и сам на моё место хотел, так ведь? Думаешь: вот свалить бы меня и взять пацанов себе под крыло... Только ты на моём месте не нужен никому. Ты и себе не нужен ни зачем.

— Ты сказал, что *заодно* меня судить будете. Что, ещё кого-то взяли?

— А?.. Да нет, мясо, это наши дела. Чухана одного осудим. Да Стрекозу прицепом.

— А её-то за что?

— За то, что тебя прохлопала. И не положила потом. Мы же чужих на подходах стреляем — нам тут краснуха не нужна. И тебя она сразу грохнуть должна была.

— Сожрёте девку?

— Да ты дурной?! — усмехнулся Хан. — Кончилось всё благополучно, ещё и хавчик лишней — ты — в запасе есть. Так что сильно её судить не будем. И вообще, с девчонками я не строгий. Они мне нужны. Они наше будущее. Кто нам новых бойцов рожать будет, ты что ли? — хохотнул, довольный. — А Стрекоза к тому же и сама тёлка дельная, любого пацана за пояс засунет. Да, мне такие нужны.

— А ты им?

Хан криво усмехнулся, погонял под щеками желваки, прищурился так, что и без того узкие глазёнки превратились в щёлочки не толще спички.

Отбросил окурок в угол.

— Ты, наверное, думаешь, мясо, что я из пацанов говно хочу сделать? — сказал он.

— Не хочешь, — отозвался варнак. — Делаешь. Зверёнышей.

Хан дёрнул губой, хмыкнул. Помолчал пару минут, исследуя лицо Пастыря, словно считал волоски давнишней щетины на впалых щеках.

Потом заговорил, глядя в пол.

15. Помощник воспитателя

Краснуху Хан ненавидел. Эта болезнь сломала ему жизнь, которая шла тихо и спокойно, по накатанной колее — все ориентиры и цели были известны и достижимы.

Студенту спортфака пединститута вагоны разгружать не с руки, поэтому Хан нашёл себе не летний период работёнку попроще, хотя и не так хорошо оплачиваемую — помощником воспитателя в лагере развития и социальной адаптации молодёжи «Гармония», что под Сосновкой. Готовился, так сказать, к будущей профессии — воспитанию подрастающего поколения.

Когда навалившаяся на страну болезнь набрала обороты, он благоразумно бросил институт. Месяц кантовался, сидя безвылазно дома и выходя только по вечерам — на заработки. Заработок был нестабилен и невелик — людей на улицах Спасска появлялось всё меньше, они становились всё безденежнее и в то же время осторожнее и злее. Высок был риск нарваться на краснуху или на пулю. Так что Хану приходилось нелегко. Даже не всегда было что пожрать дома.

В феврале умерла бабка, которая занималась воспитанием и содержанием на свою пенсию внука после того, как мать бросила Хана, ещё семилетним. Умерла старая не от болезни, но он сильно перепугался и решил на всякий случай из дома уйти. Тут и вспомнил о Сосновке.

В лагере, который в то время уже спешно переоборудовали под карантин, его хорошо знали по прошлогоднему сезону и встретили приветливо. Никто ненужных вопросов про институт не задавал, лишние руки лишними не были, так что вопрос о трудоустройстве был решён в пару часов. Заодно оказался Хан в здоровой зоне, где спешно возводилась линия обороны от краснухи, а заодно и возможного разгула бандитизма.

Вскоре начали поступать дети, со всей области. Со многими из них — в основном с мальчишками из разных спортивных школ — он уже был знаком. Пацаны и девчонки приезжали напуганными, растерянными, но всё же воспринимали происходящее гораздо легче, чем взрослые — без ненужного трагизма, со свойственным отрочеству и юности полудетским безразличием: все умрут, но я-то всё равно останусь. Хан, который уже несколько лет серьёзно увлекался психологией, быстро и легко находил пути к сердцам этой наивной шпаны. А пацаны уважали его за деловитость и жёсткость, за спортивную удаль (девять лет занятий тхэквондо), за интересы и взгляды, которые ещё не успели повзрослеть — «испортиться». А он выбирал тех, что покрепче, спортивных, и сеял им в головы семена своих мыслей, обид и мечтаний.

После того, как «покраснела» одна из медсестёр, лагерь полностью перевели на карантин. Если раньше разрешали отлучки персонала домой, то теперь с территории не выпускали и не впускали никого.

Краснуху принесли менты или солдаты, которых начальству всё равно приходилось менять время от времени. Администрация сориентировалась быстро: один корпус, в стороне, зарезервировали для заболевших, а детей перевели в отдельную от персонала зону. Оставили только по воспитателю, его помощнику и по два медработника. Всем им строго-настрого было запрещено выходить из корпусов. Никто не мог и войти. В столовую не водили — еду, витамины и лекарства, всё необходимое оставляли у входа.

Не прошло и недели, как начались перебои с едой. Воспитатели и доктора ходили с

серыми лицами и разговаривали вполголоса — они-то знали, что в лагере уже всюду гуляет болезнь. А детям всё было ничего — только ныли оттого, что приходится сидеть в четырёх стенах.

Хан давно понял, что оставаться в лагере нельзя. Сколько ни прячься по корпусам, а рано или поздно болезнь всё равно проберётся внутрь. И тогда — при созданной скученности организмов — все вымрут в несколько дней. А Хан вымирать не собирался.

Он давно уже подводил пацанов постарше к мысли, что из лагеря нужно уходить. Забирать оружие и уходить. И создавать свою коммуну, в стороне от людей. Переждать, никого не подпуская к себе снаружи, пока болезнь успокоится, содохнет с последним носителем, и тогда начать строить свою, новую, жизнь — вольную, удалую, без контроля и давления со стороны *этих*.

Когда, в первых числах июня, полыхнул красным один из корпусов и в четыре дня опустел, а всех его обитателей вынесли в «морг», когда подожгли опустевший заражённый корпус, и отблески пожарища не давали спать всю ночь, подростки посерьёзтели и, кажется, окончательно созрели для того, чтобы понять Хана.

Потом был ещё корпус. И ещё...

А потом, рано утром, в пятом часу, Хан подошёл к спящей воспитательнице и одним движением сломал ей шею. С десятком самых отчаянных и спортивных, он захватил КПП, где беззаботно отсыпали своё дежурство трое ментов. Появилось первое оружие.

Потом была бойня. Ещё остававшиеся в живых солдаты оцепления и менты попытались задержать детей, двинувшихся из лагеря, но их положили легко и всех, потому что ни один из них так и не отважился стрелять, а только бегали как зайцы, уворачиваясь от пуль и орали всякую хрень, взывая к разуму.

Вслед за уходящими хлынула следом толпа из других корпусов, но их столь же безжалостно расстреливали, потому что Хану не нужна была ни мелочь пузатая, ни лишние рты. К тому же они могли оказаться уже заразными.

Пацаны, попробовавшие крови, почуявшие свою силу, входили во вкус — стреляли с азартом. И выросли на глазах...

Потом были шатания по окрестностям, по вымершим деревням. Оказалось, что жратвы кругом хватает — брошенная скотина паслась сама по себе у каждой околицы, стреляй не хочу.

Многие из ватаги разбежались. Ушли из стаи — глупцы, — двинулись по домам, в надежде вернуться под юбки мамочкам, да там, наверное, и передохли. Этих Хан не жалел. И если таких ловили при попытке к бегству, то показательно казнили.

Устав и законы новой жизни Хан продумал заранее и теперь только вдалбливал их в мальчишеские головы, подкрепляя жестокостью и подавлением любой воли, кроме своей. Придумал носить красные банданы и отличительный знак — татуировку на запястье. Это должно было сплотить стаю, дать каждому пацану почувствовать принадлежность не к какой-то подростковой шайке, а к серьёзной организации, у которой есть вождь и закон. Хан твёрдо и сразу дал пацанам понять, что только он знает, что теперь делать и как дальше жить. Он сразу поставил вопрос дисциплины и беспрекословного подчинения. Только так ватага могла бороться за жизнь и конкурировать со взрослыми шайками, которые, Хан не сомневался, уже появлялись и будут появляться. И непременно рано или поздно произойдёт столкновение интересов.

Сытое, но невесёлое и бесславное, кочевье по деревням быстро надоело Хану, а кроме

того слишком большие просторы усложняли поддержание дисциплины. Чтобы заявить о себе, чтобы почувствовать свою силу, нужен был город. Чтобы поддерживать среди пацанов дух единства, необходимо было замкнутое пространство и чувство постоянной опасности со стороны внешнего мира. И Хан повёл ватагу в город. Он не решился идти в большой Спасск, а выбрал маленький и тихий Михайловск.

Он не думал, что город окажется до *такой* степени мёртв. Появились проблемы с питанием. Зато власть его теперь была не ограничена ничем, а гурьба подростков постепенно стала превращаться в настоящий отряд. Для этого Хан не жалел никаких усилий.

— Ты мог убедиться, мясо, что из пацанов уже есть толк. А представь, *что* я сделаю из них ещё через полгода. Это будет настоящая армия!

— Ну-ну...

Пастырь понимал, что Хану одиноко среди шпаны. Он ведь уже почти взрослый, не пацан уже. Поговорить за жизнь иногда охота, порассказать про себя, сверить пути-дороги, получить мнение со стороны...

«Нет, Тохтамыш, — думал он, — путь твой я не понимаю и не принимаю. Разные у нас с тобой пути».

— Вот тебе и «ну», — усмехнулся Хан. — Ты тоже мог бы стать мне полезным. Но не станешь, я знаю. Ты слишком неправильный. И тебя уже не исправишь.

Он поднялся, достал новую сигарету, покатал в пальцах, спрятал обратно. Посмотрел на Пастыря как будто даже с сожалением. Пораздумал. Кивнул, подытоживая разговор и свои мысли.

— Короче, мясо, — сказал деловито после того, как свистнул часовому, — не бери в голову. Пацанов я тебе не отдам. Так что, будь здоров, на суде увидимся.

За Пастырем пришли после обеда. После обеда — это по времени и по запаху, доносящемуся из столовки. Пастыря не кормили. Новому часовому, заступившему в полдень, принесли миску гречки, лепёшку и кружку чаю, а про Пастыря решили, наверное, что его самого скоро съедают, так что... Ну, это они зря! Он же с голодухи жирность потеряет, и так почти нулевую.

— Чего лыбишься, мясо? — бросил ему часовой, разбрызгивая гречку из битком набитого рта.

Лет четырнадцать пацану. Узколиций, худосочный. Нос, что у твоего Буратино. Над высоченным лбом торчит белобрысый ёжик волос. Вот говорят, высоколобые отличаются интеллектом... Какой тут интеллект!

— Ты кушай, кушай, мальчик, — по-отечески мягко произнёс варнак. — Не разговаривай во время еды, а то подавишься.

— Чё, типа весёлый? — поинтересовался шпанец, медленно проглатывая кашу.

— Да какое там! Не видишь, слёзы в глазах стоят.

— погоди, скоро реально заплачешь, — буркнул буратино.

— Тебя как зовут, мальчик?

— Ну ты, козлина, я тебе не мальчик! — окрысился пионер.

— Девочка, что ли? — процедил Пастырь, прищуриваясь. — Ты, недоросток, слова-то выбирай. Мне же этот ваш замочек вывернуть — раз плюнуть. Выйду и удавлю, как котёнка.

Пацан испуганно зыркнул на запер. Бросил ложку, метнулся к двери — проверить замок. Вот же балбес!

Пастырь быстрым подскоком тоже оказался возле двери, одним движением просунул руку между прутьев и схватил пацана за шею. Резко притянул к себе, так, что прутья вдавились в испуганную мордашку, как в сваренное вкрутую яйцо. Из рта пацана пахло гречкой и внезапным ужасом.

Второй рукой заграбастал в горсть мальчишеское лицо, сжал щёки и подбородок так, что тот ни челюстью пошевеливать не мог бы, ни пикнуть.

— Здравствуй, мой хороший, — прошептал варнак в его распахнувшиеся испуганные голубые глазёнки. — Ну, как тебя зовут, мальчик?

Пацан что-то промычал нечленораздельно, не в силах издать почти ни звука. Пастырь чуть ослабил хватку.

— Чего говоришь?

— Дятел! — пропыхтел шпанец, задыхаясь.

— Чего-о? Сам ты дятел! — обиделся Пастырь, но смелостью пацана почти что восхитился.

— Зовут... — простонал тот. — Дятел зовут.

— А-а, — разочарованно протянул варнак, невольно хохотнув.

Он на секунду отпустил мордашку, выхватил из-за пояса у пацана «Макарова», переложил его в свой карман.

— Как ты меня назвал-то? — спросил, улыбаясь, приближая свои глаза к Дятловым глазёнкам.

— Я не вас, — засуетился тот, выпуская из себя нехороший воздух. — Это я, я Дятел!

— Да нет, раньше-то, — покачал головой Пастырь. — То ли козлом, то ли мерином, что-то такое.

— Простите, дяденька, — на глазах пацана проступили слёзы. — Простите!

— Нехороший ты, пионер, — вздохнул Пастырь, отпуская охранника.

Тот отпрыгнул, остановился в нерешительности, вопросительно и умоляюще глядя на варнака.

— Что? — поднял брови Пастырь.

— Пи... пистолет отдай... те, — пролепетал пионер.

— Несовершеннолетний ты ещё, — покачал головой варнак.

Вот тут за ним и пришли. А жаль. Пастырь хотел уж немного разговорить шкета, вопросов ему интересных позадавать.

Часовой упал на табурет, затравленно глядя на явившихся троих конвоиров.

— Ты чего такой, Дятел? — заметил старший его состояние. Чернявый мощный паренёк, на вид никак не меньше восемнадцати. Но кто их сейчас разберёт, акселератов.

Дятел только рот разевал, не в силах выдать из себя ни слова. Видать, суровая кара грозила ему за то, что профукал оружие. А Пастырь не торопился — с улыбкой глядел на подавленного заморыша.

Его открыли, вывели, велели завести руки за спину и надели наручники. А трусливый Дятел так ничего и не сказал — уныло поплёлся следом позади пришедших конвоиров.

Шпана сидела в зале полукругом, прямо на холодном полу, подложив под задницы кто что придумал. В центре круга поставили рядом два стола, стулья. Ещё один стул стоял напротив столов — для подсудимого, видать. За столами уселись: в центре Хан, по правую руку от него Меченый, и ещё кто-то из старших, а слева — два хлопца помладше. Солидная такая судейская бригада...

Пастыря подвели к стулу, толкнули, давая понять, что нужно сесть. Сел. Два конвоира встали по сторонам. Третий отошёл к столу, уселся на пол напротив, подложив под зад кусок картона.

— А у меня «макар» в кармане, — просто сказал Пастырь, улыбнувшись Хану.

Тот дёрнул бровью, перевёл взгляд на конвоиров. Шпана с обеих сторон кинулась обыскивать карманы. Усевшийся было старшой суетливо вскочил, дёрнул из-за спины автомат.

Ага, ты тут ещё пулять начни, как раз половину сборища и положишь...

Хан, наверное, о том же подумал — бросил коротко:

— Ствол вниз, Ведро!

Правый охранник выдернул из Пастырева кармана «макара», бегом отправился к столу судилища, положил оружие перед Ханом. Бегом же вернулся на своё место.

— Это я у Дятла взял, поиграть, — усмехнулся Пастырь. — Хреновые у тебя солдаты, Хан.

По залу прошёл гомон, разлилось в тусклом воздухе гудение растревоженных пчёл.

Дятел, который понуро ждал в углу, вскочил и тут же повалился на колени, захныкал, из глаз его потекли слёзы.

— Ну ты и чмо, Дятел, — произнёс со своего места Меченый. — Я всегда говорил, что ты чмо.

— И ничего не сказал, сука! — покачал головой Ведро. — Он же нас поубивать мог.

— Я отмажусь! — завыл виноватый. — Хан, я отмажусь, клянусь!

Царёк небрежно махнул рукой, бросил коротко:

— В холодильник.

После того, как Дятла уволокли, обрывая его причитания тычками и затрещинами, Хан обратил узкоглазый взгляд на варнака, задержал на минуту. Со своего места Пастырь ничего не мог прочесть в этих узких щёлочках, но догадывался, что противник взбешён. Его, Пастыря, рейтинг ещё скакнул вверх, и Хана это радовать, разумеется, никак не могло.

— Ну, ладно, братья, начнём, — произнёс царёк.

Гул тут же утих, словно кто-то выключил радио. Дисциплина была жёсткой, это Пастырь давно уже понял.

Значит, «братья», говоришь? Ну-ну...

— Сегодня нам три решения нужно вынести, — продолжал Хан. — Первое — вот по этому, — кивок на Пастыря, — человеку. Он обвиняется у нас по трём пунктам: преступление против жизни, нарушение границ братства, подрывная деятельность.

Ух ты! Круто. Это какие у нас статьи-то по УК, интересно...

— Суть дела вы все уже знаете, — Хан обвёл собрание тяжёлым взглядом, от которого души самых младших, наверное, трепетали, а старших — наполнялись гордостью: мы — сила! — Пересказывать не буду. Или кто-то не знает?

Собрание отозвалось молчанием.

Хан выждал минуту, кивнул.

— Наш закон вы все тоже знаете, повторять не нужно. Но этот, — кивок на Пастыря, — человек не знает. Для него скажу: всякий чужой, кто оказался на территории Братства без разрешения, с целью шпионажа, должен быть казнён на месте. Это первое преступление и за него полагается смерть. У этого человека, братья, есть ещё одно преступление, за которое полагается смерть: подрывная деятельность. Он пытался убить Стрекозу, он пытался пробраться в лагерь мимо часовых. С какой целью — это вы не хуже меня понимаете.

По залу пробежал шорох и гул голосов. Взгляды собравшихся на минуту сконцентрировались на Пастыре так, что он почувствовал их физически: любопытные, испуганные, выжидающие взгляды полусотни подростков. И почувствовав их, Пастырь улыбнулся краешком губ, но отчётливо — так, чтобы каждый смотрящий на него глаз видел: ему, Пастырю, трёп этого пришибленного царька равнобедренен. Пастырь себе на уме и бессмертен, как Кощей.

Встретился глазами со взглядами нескольких пацанов, жёстко и вопросительно заглядывая в душу...

Да брось ты, Хан! Мальчишки как мальчишки. Может быть, ты и успел загадить им мозги и души, но ты, Тохтамыш, кажется, переоцениваешь свои способности. Не нужен ты им. Им сейчас покажи папку с мамкой и — всё, побросают они пистолетики, заревут и кинутся обниматься. Наигрались они уже в войнушку по самое не хочу, похоже...

Людоедики...

Ничего. Забудется это потом, как страшный сон.

Забудется ли?..

Забудется. В этом возрасте легко забывается.

Или нет? Не помню.

А вон те, постарше, что сидят ближе к столам — это, похоже, «гвардия». Эти — да, волчата. Они, видать, попробовали уже человеческой кровушки, поняли, что жизнь человеческая ни хрена не стоит. Усвоили, что шестиграммовый плевок свинца способен

решить многое. С этими дипломатия не прокатит, этих нужно бить в лоб, чтобы выбить из головы дурь. И не факт, что выбьешь.

— В общем, братья, — продолжал между тем Хан, — мы должны вынести наше суровое, но справедливое решение по закону военного времени. Прокурор, говори.

Поднялся сидящий по правую руку, рядом с Меченым, пацан лет шестнадцати.

— А чего тут говорить, — произнёс он, кривя рот, обводя пустым взглядом зал, небрежно задержав его на Пастыре. — И так всё ясно. Виновен по всем статьям. Приговариваю к смерти.

— Ты кто, Куцый? — недовольно проскрипел Хан.

— В смысле? — не понял тот, поглядел на вождя, миг утратив свою развязную спесь.

В повисшей в зале абсолютной тишине Хан взял графин, стоящий в центре стола, неспешно набулькал стакан воды. Выпил.

— Я спрашиваю, кто ты здесь такой? — пояснил, вытирая рукавом губы.

— Это... Прокурор, — ответил Куцый.

— Ну и с какого бодуна ты приговор выносишь?

— Ты ж сам сказал: к смерти, — опешил прокурор.

— Я сказал?! — вспыхнул Хан. — Ты первый раз на суде?! Прокурор не выносит решения, это понятно?! Прокурор — просит. Просит для обвиняемого такого-то наказания, балбес!

— А... Ну, это... — поник Куцый. — Прошу для подсудимого смертной казни.

— Садись, — бросил ему царёк.

«Прокурор» сел. Слышно было, как скрипнул под ним стул. По залу пролетел шепоток и тут же стих, едва Хан поднял от стола взгляд.

— Ну что, сказать, братья, — произнёс он. — Требование прокурора законно и обосновано. Но мы не можем вот так просто взять и осудить человека из ненавистного нам прошлого. Всякое преступление должно быть наказано, но наказание бывает разным. Быть может, у мужика есть смягчающие обстоятельства...

— Нет у меня ничего, — не выдержал и вмешался Пастырь. — Всё забрали, когда шмонали. Так что, никаких обстоятельств нет.

Кто-то среди мальцов прыснул, кто-то не выдержал и загоготал.

Хан расстрелял пацанов длинной очередью взгляда, повернулся к Пастырю.

— Мы уже поняли, что ты весёлый мужик, — сказал он с лязгом стали в голосе. — Но на суде тебе разговаривать запрещено. Тебе дадут последнее слово, потом. Тогда и скажешь про обстоятельства. Понял?

— Ты меня на понял не бери, — небрежно бросил Пастырь. — Понял?

— Короче, — процедил Хан. — Выслушаем сторону защиты. Давай, Гнус.

Сидящий слева белобрысый шкет лет четырнадцати неуверенно поднялся, старательно не глядя на «подсудимого».

— Чего? — спросил он тихо.

— Что — чего? — вздохнул Хан.

— Чего говорить-то? — ещё тише произнёс Гнус.

— Тебе видней, — усмехнулся вожак. — Что ты можешь сказать в защиту подсудимого, то и говори. Может, ты какие-нибудь смягчающие его вину обстоятельства знаешь.

— Не знаю, — испуганно ответил пацан.

— То есть, нет, что ли, никаких? — поторопил Хан.

— Нет, наверно, — пожал плечами пацан.

— Не хочешь ли ты сказать, что согласен с требованием прокурора приговорить подсудимого к смерти?

— А? — Гнус непонимающе уставился на Хана. — Нет.

— Нет? — оторопел вожак. — Чего «нет», Гнус?

— Ну, это... типа... правильно.

Пастырь засмеялся. Смотреть на это представление было смешно и жалко. Вслед за Пастыревым, прокатился смешок и по залу. Некоторые откровенно ржали. Даже Меченый покривился уголком губ. «Адвокат» покраснел — аж, кажется, до кончиков волос.

Под тяжёлым взглядом хана смех захлебнулся, быстро стих.

— Короче, Гнус, — произнёс вожак. — Я так понял, что тебе нечего сказать в защиту подсудимого?

— Нечего, — с облегчением замотал головой «адвокат» и поспешно уселся на своё место.

— Ну что ж, — качнул головой Хан, — перейдём к судейскому голосованию. Меченый?..

— Согласен с приговором, — кивнул тот.

— Папироса? — обратился Хан к сидящему рядом с Гнусом.

— А я чего, — встрепенулся рыжий пятнадцатилеток. — Я — как все.

— Понятно, — усмехнулся Хан. — Согласен, короче. Два голоса уже есть, так что *мой* голос ничего не решает. Но сказать я обязан, братья... Смерть диверсанту!

Наверное, зал должен был, по сценарию, дружно гаркнуть «Смерть!» Но хор мальчишеских голосов вышел каким-то нестройным, неуверенным и худосочным.

Тем не менее, Хан удовлетворённо кивнул и победно посмотрел на Пастыря, словно говорил: «Ну что, мясо, убедился?»

Ведро поднялся, подтянул автомат.

Что, прям здесь стрелять будут что ли? — подумал Пастырь.

Но конвоиры вцепились ему в руки, каждый со своей стороны. Ведро обошёл Пастыря, направился к служебному выходу.

— О дате приведения приговора в исполнение вас известят, подсудимый, — напутствовал Хан, с чего-то перейдя на «вы».

— А последнее слово? — поднял брови Пастырь.

— Это перед смертью, — усмехнулся Хан.

17. Сокамерник

Непонятно, чем было раньше то помещение, куда Пастыря привели после того как долго петляли по узким переходам служебных помещений и спустились в подвал. Небольшой коридор с одной простой, деревянной, дверью в конце и несколькими — металлическими — по сторонам. Ведро открыл одну из них, снял с Пастыря наручники, осветил фонарём внутрь, кивнул.

— Жрать — принесут, — бросил он, когда варнак зашёл в небольшое — три на три — помещение.

Две стены, чуть ли не до потолка выкрашенные в тёмно-синий убийственный цвет, едва освещаются тусклым светом, падающим откуда-то справа. Многочисленные дыры и оставшиеся кое-где торчать дюбели говорили о том, что когда-то здесь стояли стеллажи. Вместо двух боковых стен — решётки из арматуры. Воняло откуда-то сортиром, подвалом и плесенью.

Такое впечатление, что весь вокзал был не местом ожидания поездов, а — тюрьмой.

Да нет конечно. Что-то типа складских помещений здесь было, наверное. Вещевой склад скорей всего.

Дверь захлопнулась. Лязгнула снаружи задвижка. Утопали в тишину шаги малолетних конвоиров.

— Здравствуйте, — услышал Пастырь голос справа.

Повернул голову.

В соседней клетушке, чуть попросторней, сидел на металлической кровати и смотрел на него бородатенький породистый мужик. Породистый — в том смысле, что читалась в его лице, осанке и манерах нерастратенная интеллигентность.

И клетушка у него была со всеми удобствами: на тумбочке истекает светом керосинка, кровать, стол, стул, канцелярский шкаф, приспособленный, кажется под книжный, битый-перебитый и облезлый платяной шкаф. Однако, мужик здесь, похоже, не зэком. Похоже, что живёт он здесь. Интересно...

Сосед смотрел заинтересованно, улыбался.

— Ну, здорово, — кивнул Пастырь. — Как жизнь?

— Да вот... так, собственно, — мужик встал с кровати, развёл руками, обежал взглядом свою клетку, словно увидел её впервые. Потом подошёл к решётке, разделяющей их камеры, протянул между прутьев руку.

— Будем знакомы, — сказал он, улыбаясь и кивая. — Перевалов. Виталий Георгиевич. Врач. Бывший. Хирург.

Пастырь дёрнул головой, вцепился в лицо мужика взглядом. Постояв несколько секунд, переведя дыхание, подошёл к решётке со своей стороны. Сквозь полумрак заглянул Перевалову в глаза. Медленно, будто раздумывая, протянул руку. Узковатая и белая, интеллигентная ладонь доктора утонула в его грубой лапище. Сдавил... Поднажал. В лице Перевалова появилась какая-то неопределённость, удивление и лёгкое любопытство. Поднажал ещё. Губа доктора дёрнулась, он зашипел. Но руку почему-то выдернуть не пытался. Наверное, чтобы не выглядеть смешным. Тогда варнак просто рванул эту руку на себя, резко, но сдерживая силу, боясь дать чувствам волю. Лицо доктора стремительно приблизилось, впечаталось в прутья решётки. Он охнул и осел, сполз по прутьям, падая на

колени.

— Пастырь, — сказал варнак, не отпуская руку, продолжая стискивать. — В смысле, Шеин. Пётр Сергеевич. Ни о чём не говорит фамилия?

Перевалов поднял искажённое болью лицо, на котором отпечатались и наливались кровью две рубчатых полосы, оставленные арматурой. Взгляд его сейчас был рассеян и туп — похоже, контузило доктора слегка.

— Фамилия?.. — переспросил он, с трудом, кажется, соображая, что происходит. — Шеин? Н-нет... кажется. Или...

— Или..? — бросил Пастырь, цепляясь за его лицо колючим взглядом.

— Но... — проямлил доктор. — Вы хотите сказать, что... О-о-о! — простонал он, мотая головой. — Не может быть! А... вы... А откуда вы...

Врач замолчал, не переставая отрицательно мотать головой.

Пастырь отпустил, небрежно отбросил его руку, преодолев желание дёрнуть ещё раз. Лекарь торопливо отодвинулся от решётки, принялся растирать конечность.

— Послушайте, — заговорил он. — Послушайте, Пётр Сергеевич, всё не совсем так, как вы...

— Заткнись, — бросил Пастырь, отходя к стене, усаживаясь на грязный матрац, валяющийся на цементном полу.

— Вы не думайте, у нас с Еленой...

— Заткнись! — рявкнул Пастырь.

Перевалов вздрогнул, замолчал. И только продолжал отрицательно качать головой да ощупывал лицо. Потом засмеялся.

Пастырь удивлённо посмотрел на гомерически хохочущего доктора.

— Вот же дьявол какие шутки шутит! — пояснил хирург, когда отсмеялся. — Да нет, вы не думайте, я в своём уме. Просто поражаюсь, как всё... До чего же любит жизнь закручивать сюжет и сталкивать людей лбами. Даже когда всё валится в бездну и никто никому уже ничего не должен, даже тогда!

— Никто никому, говоришь? — нахмурился Пастырь. — Ничего?

— Да, я виноват перед вами, — покривился док, ощупывая вспухшие и стремительно багровеющие рубцы от удара о решётку. — Не спорю. Если мыслить старыми, отжившими своё, категориями, то я, как бы... В общем, простите меня, Пётр Сергеевич.

— Бог простит, — отозвался варнак.

— Понимаю, — кивнул Перевалов.

— Отжившими, значит?.. Ты, видать, уже на новую жизнь настроился? Нравится здесь?

— Жить можно, — лекарь пожал плечами, покашлял. — Вариантов-то у меня всё равно нет.

— Варианты всегда есть, — возразил Пастырь.

— Ну, это... демагогия, знаете ли. Как там, в городе?

— Врачей очень не хватает.

— У-у... угу... А знаете, кто больше всего пострадал от этой болезни?.. Да-да, врачи и пострадали.

— И давно ты здесь... страдаешь?

— Ну, если я не ошибаюсь, что сейчас октябрь, то уже где-то четвёртый месяц.

— Что ж тебя до сих пор не стрескали, док? Или откармливают?

Перевалов улыбнулся.

— Ребятам нужен врач, — охотно пояснил он. — Сами понимаете. И умный человек, способный помочь и подсказать, им тоже нужен.

— Вот как? Ты, значит, типа ферзь? При хане.

— Вы, Пётр Сергеевич, напрасно так агрессивны. Понимаю, что я вам неприятен, но...

— Ты, лекарь, Вадьку в этой шобле видел? — перебил варнак.

— Вадьку?.. В смысле вашего Вадима?.. Н-нет, — покачал доктор головой. — Нет, не видел.

Что-то в его лице не понравилось Пастырю.

— Темнишь! — сказал он, вглядываясь в лицо сокамерника.

— Да нет, нет, Пётр Сергеевич, не видел, правда, — Перевалов поднялся, отошёл к кровати, уселся, растревожив скрипучие пружины. Достал пачку сигарет, чиркнул спичкой.

— Я же тут не всех знаю, — сказал он, шумно выпуская струйку дыма, не переставая ощущать лицо. — В медпункт мне надо...

Порылся в прикроватной тумбочке, достал какой-то пузырёк, кусок ваты. Принялся обрабатывать рубцы.

— Я видел лицом к лицу от силы процентов сорок ребят... Хорошие ребята... Не озлобились, не озверели, в отличие от нас, взрослых, — продолжал он, достав из тумбочки зеркало, едва касаясь ваткой пораненной кожи и морщась при каждом прикосновении. — Ох, испортили вы мне фотографию... Ладно, главное, кости целы... А Вадима — нет, не видел... Вы уж меня простите, Пётр Сергеевич, думаю, вы и сами понимаете, что вам лучше подготовиться... с-с-с! больно, зараза!.. что вам лучше подготовиться к худшему.

— К худшему ты сам готовься, — покривился Пастырь.

Перевалов оторвался от своего занятия, бросил на варнака быстрый взгляд, глубоко затаился.

— А я всегда готов, — усмехнулся он. — Я ж пионер.

— Всем ребятам пример?

— Ага, — хохотнул доктор. — Нет, знаете, правда, Пётр Сергеевич, я за это время, с ребятами, как будто сам помолодел! И что я не пошёл в свое время в педагогический, дурак!

— Дурак, правда, — подтвердил варнак. — Смотрю я на тебя и удивляюсь. Жизнерадостный идиот какой-то, пополам с мазохистом... Что она в тебе нашла?..

Лекарь отбросил тампон, сунул окурок в консервную банку, заменяющую пепельницу. Посмотрел на Пастыря. Усмехнулся.

— Я то же самое про *вас* думаю, Пётр Сергеевич, — сказал он, критически поглядывая на собеседника. — И что эта удивительная женщина в *вас* нашла?!

18. Мясник

С Еленой Перевалов сошёлся почти за полгода до того, как всё рухнуло, до прихода в город бандитов, до того, как умер прежний главврач и на его место был назначен он. Познакомился случайно, через своих знакомых, живущих в одном с Еленой подъезде...

Да, да, Олег и Надежда. Волошины, с пятого, да.

Он справлял у них робкий и скучный Новый год — податься было некуда, а одному в своей холостяцкой квартирке, в чахнувшем городе, сидеть не хотелось, вот и принял приглашение. У них же была и Елена.

Завертелось всё как-то сразу, быстро и сумбурно. Наверное, так оно и бывает в предвидении возможной скорой смерти, когда люди торопятся отхватить у жизни всё, чего она им недодала. Никаких разговоров о чувствах не было. Он понимал, что она просто тянется к мужскому плечу в трудное время, боится, цепляется за него, хочет ощутить напоследок ещё раз некое подобие простого и тёплого женского счастья. Ему она понравилась сразу, поэтому он не стал упираться — воспользовался её состоянием и старался дать ей взамен как можно больше.

В апреле она забеременела. Он сомневался, что всё вышло случайно — не девочка глупая поди. Она и не стала отрицать, призналась, что пошла на это сознательно.

Зачем? — спрашивал он. Улыбалась только и прятала глаза. Похоже, и сама толком не знала зачем. В панике, в крайне тяжёлых обстоятельствах, в предвидении смерти или больших несчастий люди порой совершают такие поступки, которых от них сроду не ждал никто. Да и сами от себя не ждали. Его попытку предложить аборт пресекла сразу и жёстко.

Он уговаривал её уехать в Польшаево, где жили его родители, но Елена категорически отказалась.

В мае она отправила Вадима в «Гармонию», в лагерь, что под Сосновкой. Тогда Перевалов перебрался к ней, стали жить вместе. Продолжал ходить на работу, в больницу, хотя её уже дважды пытались взять штурмом, стреляли по ночам в окна, предполагая, видимо, что в палатах лежат больные с «краснухой». Но всех заражённых располагали в подвальных помещениях, спешно организовав там для них койкоместа. Там они и умирали один за другим, практически без присмотра и конечно без всякого лечения. Потому что никто не знал, как и чем их лечить, а врачи и медсёстры отказывались к ним спускаться. Больше всего страдали от налётов обычные больные. Впрочем, таких вскоре почти не осталось — только неходячие да совсем старики; остальные предпочли доболеть или умереть лучше дома, чем в «рассаднике заразы» и с риском получить пулю.

Потом, когда пришли бандиты, все оставшиеся больные, независимо от диагноза, были перебиты. Так же, как и персонал, находившийся на рабочих местах. У Перевалова в тот день, к счастью, был выходной после ночного дежурства. Когда он на завтра пришёл в больницу, всё уже было кончено.

А через два дня за ним явились. Виталий Георгиевич не знал, кто выдал его бандитам, откуда они проведали, где он жил в те дни. Пришли, когда Елены, слава богу, не было дома — она продолжала ходить на работу, да. Сильная была женщина. Хотя и... Хотя и не от мира сего немного. А может быть, в том её сила и заключалась.

— Вы, Пётр Сергеевич, зла на Елену не держите, — помолчав, произнёс Перевалов. — Она всё писемждала от вас. Говорила, что вы умерли, что никогда больше вас не увидит,

что... А сама верила и ждала, я ведь знаю. Женщина не может иначе... А виноват во всём я. Воспользовался.

— Короче, — бросил Пастырь.

В общем, его взяли, — продолжал Перевалов. Сказали, что он поедет с ними — им нужен был врач. Было у них много раненых, ну и на будущее, дескать. Деваться ему было некуда.

С бандитами он доехал до самого Спасска. Спасск оказался зрелищем ещё более ужасным, чем умирающий Михайловск. Там тоже хозяйничали бандиты — местные уголовники и дезертиры из стоявшей поблизости воинской части, организовавшие в некое подобие управы. Явившиеся из Михайловска бандюки им не приглянулись, завязалась между ними потасовка. Перевалов воспользовался случаем — сбежал, затерялся в переулках пригорода, засел в подвале старого трёхэтажного дома и не вылезал из него двое суток, дыша миазмами, исходившими от двух полуразложившихся тел и давно загнивших остатков пищи. Потом жажда выгнала его из укрытия и он, одуревший от голода, жажды и свежего воздуха, долго искал дорогу из города, блуждая по смердящим тухлятиной улицам, среди наваленных трупов, которые давно никто не убирал. Михайловску больше повезло — он продержался дольше, а у Спасска, видимо, агония началась значительно раньше.

Сорок с небольшим километров до Михайловска шёл почти пять дней, петляя по полям и рощам, подальше от дорог и деревень. Возле Ясневки какой-то сумасшедший мужик с двустволкой устроил на него настоящую охоту. То ли с голоду уже помирал и решил полюдоедствовать, то ли просто головой тронулся от обстоятельств. Гнал Перевалова часа четыре, паля то в воздух, то вслед. А потом взял и застрелился. Виталий Георгиевич вернулся к нему, подобрал ружьё с последним оставшимся патроном.

В Михайловск войти так и не сумел. На карьерах встретил передовой отряд «пионеров». Те его взяли. Узнав, что он врач, убивать не стали.

Несколько дней он мотался с ними в качестве пленника и штатного доктора по окрестностям Михайловска, по всем деревням, где «пионеры» выискивали скотину и живых. Жилось им, кажется, неплохо. Во всяком случае, еды хватало. Потом они решились войти в Михайловск. Перевалов отговаривал Хана идти в город — в сёлах еды больше, говорил он, и вода есть, а в городе сейчас тяжко. Но у Хана были свои планы, не стал он слушать доктора. Хан молодец, конечно, держит мальцов в строгости, не даёт им погибнуть от их мальчишеской дури, от голода и болезни. Молодец. Но молод слишком, неопытен ещё, не всегда хватает у него ума правильно сориентироваться в обстановке. Перевалов помогал, как мог. У Хана хватало ума прислушиваться, не пороть горячку и не настаивать на своём, из глупого юношеского упрямства. В общем, у мальчишек были все шансы выжить.

— Угу, — усмехнулся Пастырь, кивая. — Хан — спаситель. Христос. Аллах акбар, вернее.

— Да, спаситель, — произнес Перевалов. — Для них он и впрямь спаситель, напрасно иронизируете Пётр Сергеевич. Вы ведь не знаете того, что знаю я.

— Ну-ну...

— Кстати, вы человек бывалый, толковый, сильный. От вашего содействия мальчишкам будет великая польза. Хотите, я поговорю с Ханом? А со временем вы могли бы занять его место. Мы бы с вами такую республику ШКИД построили!

Пастырь удивлённо взглянул на доктора. Тот, кажется, говорил на полном серьёзе. Смотрел на варнака вопросительно, ждал ответа.

Потом, видать, понял всё по Пастыреву взгляду, кивнул. Продолжал.

Вошли в город, оккупировали вокзал, начали обустриваться. Виталий Георгиевич просил Хана, чтобы отпустил его сходить к Елене, узнать хоть, как она там. Не отпустил. Но позволил в сопровождении группы навестись в больницу. Там, возле своего кабинета он и нашёл Елену. С трудом узнал — видать, она не меньше, чем за неделю до этого умерла. Хотел похоронить, но пацаны не дали — обещали прикончить, если хотя бы подойдёт к трупу.

В общем, посадили его в эту вот клетку. Не доверяет Хан, сомневается, что не захочет доктор свободы. Хотя тот беседовал с вожаком по душам пару раз, объяснил, что целиком и полностью на его стороне.

— Вот, значит как? — прищурился Пастырь.

Лекарь пожал плечами.

— Нужно реально смотреть на вещи, Пётр Сергеевич. Всё изменилось. Жизнь рухнула. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Нет ни правительства, ни полиции, ни прав, ни законов... Закон теперь один — кто смел, тот и съел.

И хохотнул над своей последней фразой, добавил:

— В буквальном таки смысле!

— И ты, значит, решил прибиться к «сильнейшему» — не улыбнулся Пастырь.

— Да. Выживаю, уж простите. Идти мне некуда. И незачем. Да и детей без присмотра оставлять нельзя. Они же погибнут. А это — будущее страны.

— Хреновое же у неё будущее, — покачал головой Пастырь.

— Другого — нет, — пожал плечами док. — Что посеяли, то и жнём.

— Угу...

Первые недели жилось хорошо. Была в запасе свинья, были куры, много муки и крупы. Водоканал сразу забрали себе, как советовал Перевалов, и поставили там постоянную охрану.

Потом оказалось, что город разграблен практически до нуля, что еды в нём нет никакой. А запасы таяли, потому что мальчишки, несмотря на призывы доктора, ни в чём себе не отказывали — ели вдоволь. Скоро остались одна мука да немного гречки с овсянкой. Пару раз повезло подбить собак... Доктор настойчиво предлагал Хану уйти из города — подальше, в деревню, до которой ещё не добрались горожане, не разграбили. Но у Хана были свои планы, он жаждал быть в центре, а не на периферии...

Однажды поймали караульных с водоканала на том, что они ели человечину — застрелили какого-то мужика, осмелившегося сунуться ночью за водой. Так и началось.

С тех пор появилась у Перевалова работа — осмотр и разделка убитых. Сами пацаны боялись этим заниматься — тошнило их.

— Странные они, — улыбнулся док. — Смешные мальчишки. Убить — это легко, а руку отрубить — бледнеют сразу и чуть не плачут. Хан уж и смертью грозил — бесполезно. Ну, я тогда... Я же хирург, что мне...

— Вызвался в мясники, в общем, — гадливо покосился на доктора Пастырь.

— В мясники? — хохотнул Перевалов. — Ну, получается вроде того... Да полноте, Пётр Сергеевич, не кривитесь вы так. Вы всё от старых представлений о жизни, о порядочности, человечности и чести отойти не можете. А ничего этого нет давно. Всегда ли был человек таким, каким вы его привыкли представлять? Да нет конечно! Жрали друг друга за милую душу! И в двадцать первом веке жрали, мумба-юмба там всякие; да и не только они. Это

когда человек мало-мальски лучше жить начинал, так становился он гуманным. В кавычках, конечно. А как только прижимало, так опять озверевал и готов был на всё, лишь бы жизнь свою ненужную сохранить. Вспомните историю-то, учили небось.

— Складно чешешь, — покачал головой Пастырь. — И что? Не тянет из клетки, на волю-то?

— А что там делать? Какая воля, помилуйте! Променять одну клетку на другую призываете?

— Ясно... Так, значит, и будешь людей разделявать, пока самого не сожрут? А сам-то, небось, тоже пробовал? Человечинку.

— Можете меня убить, — упрямо дёрнул подбородком Перевалов.

— Могу, конечно, — усмехнулся Пастырь. — И даже должен, по идее, согласись.

Мясник устало пожал плечами, отвернулся.

— Угу, — покачал головой варнак. — Угу... Ну ладно, стало быть. Будем думать, что с тобой делать, работник пищевого ты наш, туда тебя в заднюю дверь.

Доктор усмехнулся.

— Вы бы о себе подумали лучше, — ответил не без сарказма. — А то ведь у вас сейчас все шансы попасть к, как вы изволили выразиться, мяснику. В эту клетку никого просто так не садят. Вас, можно сказать, на первичный осмотр привели, хе-хе...

И, улыбнувшись, успокоил:

— Но вы не бойтесь, Пётр Сергеевич. Не всё сразу. Наркоза пока ещё хватает... Крови, правда, нет, сами понимаете. Но вы мужчина крепкий, а я, в свою очередь, постараюсь минимизировать потерю крови... В общем, сначала ампутация рук, потом — ноги. Так что поживёте ещё.

19. За крутизну

Тут за Переваловым пришли. Ведро открыл дверь, поморгал глазами на распухшую физиономию доктора, произнёс «Ни х** себе!» Потом махнул: на выход! Доктор закивал мелко, улыбнулся, бросил быстрый взгляд на варнака. Ушёл.

А Пастырю поесть принесли. Миску овсянки — на две ложки — да кусок сухой подгорелой лепёхи. Зато чаю налили от души — целую здоровенную алюминиевую кружку. И сахара наложили столько, что язык к нёбу прилипал. Наверное, чтобы мясо стало послаще, — усмехнулся Пастырь.

Вот же шпана! Она и есть шпана: сами без сладкого не могут, так думают, что все должны по шесть ложек сахару в кружку класть...

Поел и долго сидел, уставясь в одну точку, осмысливая происшедшее с ним сегодня.

Перевалов удивил. Судьба, сведшая с доктором, удивила конечно, но ещё больше — сам эскулап. И это с таким-то дрищём, туда его в заднюю дверь, Ленка спуталась! Эх, дура баба... Забеременела... Совсем, видать, головой поехала тут одна, с перепугу.

Ну, да ладно, дело прошлое, что ж теперь. Теперь, Ленусь, ничего уже изменить невозможно. Ты там, на небе, за Вадьку замолви словечко. Хотя... Вряд ли тебя слушать станут, грешницу-то. Ты себе, по глупости бабьей, и в рай дорогу отрезала. Эх!..

А его, Пастыря, значит, как собачку, как скотину какую, решили на корм пустить. Угу... Только скотину сразу забивают, а его будут по частям съедать. Ну да, понятно, холодильника-то нет.

Только всё равно он сомневался! Сбрендил Перевалов, с ума съехал давно от страха за бесполезную свою жизнь, от поминутного ожидания смерти. Сбрендил, вот и выдаёт свои фантазии за действительность... Враньё, враньё...

«А ты сам-то веришь в это?» — спросил внутренний голос.

Да нет, конечно, — пораздумав ответил Пастырь. — Не врёт мясник. Ты, Пастырь, теперь — заготовка. Впрок. Мясо ты одним словом.

А значит, нужно из этого загона выходить. Вадьки здесь нет и не было... Если не врёт мясник. Что-то в его лице было не так, когда спросил Пастырь про сына.

Вадька... Где ты, сынок, а? Где искать тебя, Чекурёнок?

Протопали по коридору чьи-то шаги. Хлопнула дверь в конце, та, деревянная. Уж не готовятся ли? К разделке.

Надо уходить. Надо было *уже* уходить. Ещё когда хавчик принесли, надлежало стукнуть пацанов лбами, забрать «калаша» и выбираться из этого рассадника людоедства. Особых проблем с уходом быть не должно. Детвора, похоже, только с виду, со стороны, кажется крутой организованной бандой. А изнутри — обычная пацанва, с немного перекошенными от страха и вредного влияния мозгами. Мозги можно вправить на место, это не беда. Не всем, конечно, но — большинству. И дисциплина... Какая там к чертям дисциплина! Держится всё только на страхе перед Ханом и его кликой. Убери Хана — такое начнётся!..

Вот. Вот, в том и загвоздка. Уйти надо так, чтобы не было потом мучительно больно и тревожно за эту шелупонь.

Ну а если препятствовать попробуют, если серьёзно остановить захотят, то... Ничего не поделаешь, значит. Значит, судьба у них такая. Но число жертв Пастырь постарается, как выразился мясник, минимизировать. Бить будет только самых отъявленных и отчаянных. И

только в крайнем случае, если совсем уж подопрёт. По ногам будет бить, по рукам. Одиночными. Доктор у них есть — **выходит**.

Хотя, мясника, по-хорошему, тоже надо вытаскивать отсюда. Или убивать гада.

Снова протопали за дверью шаги. Послышался приглушённый разговор. Потом смех. Девичий.

Девчонки... Бог даст, хоть они-то не станут ни во что вмешиваться, цыпухи. Хотя... если такая, как Стрекоза, так уж лучше, может, пацаны тогда. Резвая девчонка, хладнокровная.

Интересно, на что её осудили. Какие у них тут вообще штрафы предусмотрены.

Лязгнула задвижка. Дверь приоткрылась. Ослепил на мгновение луч фонаря. Просунулась в створ девчоночья коротко стриженная голова.

Стрекоза! Легка на помине.

— Привет, дядь! — сказала она как вчера, задорно улыбаясь.

А чего это она?..

— Привет, — ухмыльнулся Пастырь, завозился на матрасе.

— Да ты сиди, сиди, — заторопилась девчонка, подумав, наверное, что он решил двинуть на выход. — Я так...

Она погасила фонарь, пошире открыла дверь.

— А чего это ты тут? — поинтересовался варнак.

— В наряде, — поморщилась она. — За тебя.

— У-у, — промычал Пастырь. — Ну извини.

— «Спасибо» хоть бы сказал. Что не застрелила.

— Спасибо.

— Ага... Живи на здоровье.

— Что там про меня слышать?

— Да ничего, — пожала она плечами. — Тебя ж приговорили уже, чего ещё.

— Ну да, действительно... И как это у вас обычно... происходит? Ну, это...

— Да нормально, — улыбнулась она. — Там Хан с доком сейчас совещаются. Про тебя, наверное. Скорей всего, на мясо пойдёшь.

— А-а...

— Боишься?

— Да как-то нет, — развёл руками Пастырь.

Она убрала голову, прислушалась к чему-то. Потом появилась снова:

— Думала, идёт кто... Не знаю, чего там они решат. Ты здоровый сильно. Наверное, резать начнут.

— Резать?

— Ну, это... по частям есть... будут.

— А ты не будешь? — усмехнулся он.

— Не-а, — ответила она серьёзно. — Я людятину не ем. У нас многие не едят. Из младших вообще никто не научился. Им хоть и говорят, что, мол, собачатина, а они узнают как-то. И не едят. До блевотины. А постарше многие — ничего так, привыкают потихоньку.

— Угу... Твой-то живы, не знаешь? Родители я имею...

— Ой, только не надо, а! — перебила она. — В душу хочешь влезть, что ли? Не выйдет, дядь.

— Хм, — он кивнул задумчиво. — Да нет, просто спросил. У меня, вот, жена... И

Вадьки нет. Я думал, найду его здесь...

— Да твои проблемы, Пастух, — отмахнулась Стрекоза. — Не грузи, а? Без тебя тошно.

— А что так? Не нравится, что ли, здесь?

Она не ответила. Резко захлопнула дверь, стукнула задвижкой.

Пастырь покачал головой, поёжился зябко.

«Людятину», значит?..

Интересно-то как всё у людей нынче! С человеком можно поговорить. По душам. За жизнь. С человеком, которого завтра съешь, которым потом покакать сходишь.

У зверей просто всё: выследили, догнали, свалили, перегрызли глотку, сожрали. Всё.

А у хомы сапиенса всё сложнее. Хома он — разумный. Ему чего ж не пообщаться с едой своей...

Минут через пять снова стукнул засов. Дверь приоткрылась, явилась Стрекоза.

— Нюшка-долбанушка шастает, — пояснила она. — Всё чего-то высматривает, вынюхивает, сучка. Подстилка, б**.

— Ну ты... — опешил Пастырь.

— Чего дядь? — улыбнулась она. — А-а, ну да, ты же у нас вожатый типа.

— Не матерись, — попросил он. — Ты же девочка. Ладно мальчишки, но ты то...

— Не нуди, а! — бросила она. И поведала заговорщически: — Там пацаны только про тебя и шепчутся.

— Это чего?

— Ну-у... обсуждают. Крутой, типа, мужик. Решают, кто круче: Хан или ты.

— И к чему приходят?

Она не ответила, поулыбалась, спросила:

— А хочешь, я скажу, как думаю?

— Ну скажи.

— Ты круче, конечно. Хан — придурок. Больной на всю голову. Достал он уже!

— Кхм...

— Из-за него знаешь, сколько пацанов погибло...

— Догадываюсь. Ты подожди, он вас всех обнулит. Вы ему нужны только для самозащиты.

— Не, ну это ты зря, — покачала она головой. — Хан придурок, но в этом смысле он молодец. Он за пацанов порвёт кого хочешь. Но ты — глыба, кто бы спорил.

— Не порвёт. Сольёт он вас всех, как только прижмут обстоятельства.

— Эй, кончай, а, — прищурилась она. — Типа, деморализовать хочешь, что ли?

Какая сообразительная девочка!

— А чего вас деморализовывать, — улыбнулся Пастырь. — У вас никакой морали-то и нет. Сейчас командиры ваши собак да пришлых жрут. Не станет никого, начнут вас жрать. Сначала младших, потом...

— Короче, вожатый! — прикрикнула Стрекоза. — Меняем тему.

— А что? Такая же мысль гложет, ага? Знаешь, что я прав, вот и...

Она исчезла, захлопнула дверь. Пастырь услышал её раздражённые шаги по коридору.

Кхм... Зря он насел на девчонку. Не рассчитал. Не надо было вот так сразу, прямо. Стрекоза ещё не созрела, кажется, для настоящего недовольства Ханом, хотя и понимает, похоже, что неправильно всё у них идёт. Девчонка-то сообразительная и не сильно, видать, испорченная.

Зря, в общем. Поспешил.

20. Вадька

Но она вернулась минут через десять. Открыла дверь, заглянула. Держала в руках кусок лепёшки, жевала, улыбалась.

Молча бросила, через камеру, на колени ему такой же кусок. Пастырь кивнул. Голод грыз желудок зверски — что ему две ложки овсянки за целый день! Однако гордость не позволила наброситься на этот неумело испечённый — тёплый ещё — хлеб. Только понюхал, глубоко вдыхая, кисловатый запах. Перед глазами встала Ленка: в переднике своём с вышивкой-чебурашкой, с полотенцем через плечо, на залитой солнцем кухне; улыбается своим каким-то мыслям, напевает что-то и жарит лепёшки — не такие, не эту пересушенную неумелыми девчоночьими руками безвкусную фигню, а...

— Жена у меня лепёхи любила стряпать, — улыбнулся он. — В выходные по три часа у плиты простаивала. Напечёт их целую гору — штук по тридцать-сорок. Запашище хлебный по всему дому стоял. Да что там — на всю улицу! Они у неё золотистые выходили, ноздреватые. Чекурёнок наш тут же вертится, за...

— Кто? — уставилась на него Стрекоза.

— Чеку... А-а, это я Вадьку Чекурёнком звал, — улыбнулся Пастырь.

— Чекурёнком?! — стрекоза вонзилась взглядом в лицо варнака, нижняя губка её задрожала мелко-мелко.

— Чекурёнком, ага, — хохотнул Пастырь, не замечая состояния девчонки. — Нравилось ему это.

— Нет, — неожиданно произнесла она.

— Чего — нет? — не понял он.

Она, не отвечая, зашла в камеру, прикрыла за собой дверь. Робко, почти на цыпочках, приблизилась к Пастырю и опустилась на матрац рядом. Потянула ворот свитера, будто душно было, потрянула головой.

— Не нравилось, — сказала тихо. — Бесил его этот Чекурёнок.

— Ну, ты это... — оторопело уставился на неё Пастырь. — С чего это ты взяла?

— Да с того, — Стрекоза отвернулась, пряча слёзы. — Шея.

— Что — шея? — не понял варнак.

— Шея у него кличка была. Фамилия — Шеин?

— Ше... Шеин, — просипел Пастырь, замирая, чувствуя, как обрывается всё в животе. — *Была... Была* кличка, говоришь... Значит..?

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Она молчала, утирая слёзы, подрагивая плечами — ссутуленная, маленькая совсем, глупая и такая ненужная никому девочка. Держалась, держалась — не сдержалась, всхлипнула, заскулила.

— А ты, стало быть, знаешь... знала его? — Пастырь смотрел себе под ноги, сжимая и разжимая кулаки.

Стрекоза кивнула.

— Он... да, мы с ним... дружили. В лагере. И потом.

— А-а... И... это... Как он..? Что с ним стало-то?

— Убили.

Пастырь скрипнул зубами, кивнул, всхрапнул, втягивая воздух, который не мог

пробиться в лёгкие сквозь рвущийся изнутри всхлип.

Вот и всё. Вот и кончилась жизнь. Нет Ленки. Не стало Вадьки. Один. Один в дохлом городе, в умирающей стране. В жизни своей, нахрен теперь никому не нужной, — один.

— Летом, — продолжала Стрекоза. — Цыгане.

— Цыгане?!

— Ну да, — она утёрла слёзы; неуверенно, искоса взглянула на Пастыря. — Наши цыган поймали, в конце июля... Ну, в общем... Хан сказал, типа девчонка у них больная, велел её казнить. Ну, мы... пацаны тогда её... Цыгане визжать стали, бросаться. А у одного нож оказался. Он на наших кинулся и давай махать. Толстого зарезал и Шею... Вадьку, то есть. Его Меченый вырубил. Затоптали. Ну, Хан сказал, что этих чурок грязных есть нельзя, тем более, что они заразные могут быть, и велел прикончить всех. А одного, самого старого, — отпустить. Пошину взяли только. Ну, это... руку ему...

— Вот, значит, как, — выдохнул Пастырь.

Людей меньше стало, намного меньше, а мир — поди ж ты, всё так же тесен! Кто-то из Михаевых сродственников, значит, Вадьку подрезал. Сын, может... Ишь как всё переплелось...

Холодна ты, тоска!..

Он не выдержал — повалился вдруг на колени, завыл. И бил кулаком в цементный пол, разбивая казанки в кровь и не замечая боли.

Стрекоза нерешительно присела на корточки рядом. Неуверенно коснулась плеча. Потом волос. Погладила, едва касаясь, боясь причинить боль разбитому затылку.

А он её не замечал. Сидел, уставясь в грязный цементный пол, без мыслей, оглушённый — будто враз образовалась вокруг немая и неживая пустота, и нет в ней никого и ничего, кроме боли.

Потом на смену боли пришла ярость.

Хан, сука, я убью тебя, мразь! Если бы не ты, погань... Убью!

Пастырь вдохнул, резко выдохнул.

— Тебя как зовут, дочка? — спросил он, поднимаясь, отерев насухо глаза.

— Стреко... В смысле, Оля.

— Угу... Михайловская?

— Нет, из Дубасовки.

Есть такая деревня, километрах в восьми от Благодного, на север. Небольшая совсем деревушка, дворов на тридцать. Может и выжила она. Такие вот маленькие, вечно нетрезвые, поселения, в стороне от большого мира, в которые чужие не ходят, — они-то и должны выжить, стать основой будущего страны.

Дверь вдруг скрипнула, приоткрылась на секунду. Кто-то быстро заглянул внутрь. Потом железяка двинулась обратно и с громким лязгом захлопнулась. Проскрежетала и цокнула снаружи задвижка.

Стрекоза подскочила как ужаленная, бросилась к выходу, толкнула дверь. Обернулась, враз побледневшая, опустила на корточки, закрыла лицо руками.

— П*ц! — произнесла на выдохе.

Из-за двери послышался довольный девчоночий смешок, от которого Стрекоза взвилась, подскочила. Прищуренные глаза её замерцали отчаянием и ненавистью.

— Ах ты сука! — прошипела она. — Тварь!

— Кто это? — спросил Пастырь, понимая, что случилось очень плохое. Что Стрекозе

теперь не поздоровится.

— Ньюшка, б***! Подловила, гадина!

Пастырь не отдал бы им Стрекозу. Порвал бы пришедших за ней пацанов, забрал бы оружие и...

Но они явились целой гурьбой. Ведро, который пришёл старшим, был не дурак. Он завёл в камеру Перевалова и оттуда, через решётку, сказал:

— Ну что, Стрекоза, суши вёсла. Этого тебе Хан не простит. Второй косяк подряд. Серьёзный косяк, Стрекоза.

— Да пошёл ты! — бросила она.

— Отпусти её, пусть выйдет, — велел Ведро Пастырю, обнимавшему Стрекозу за плечи. — И не дёргайся, а то завалю обоих. У меня приказ Хана.

Пастырь скрипнул зубами, ступил вперёд, отодвигая девчонку за спину. Ведро дёрнул из-за спины автомат.

— Пётр Сергеевич, — прошептал Перевалов. — Не сопротивляйтесь.

— Ну что? — спросил Ведро, приготовившись дёрнуть затвор «калаша».

— Пустите меня, — Стрекоза вышла из-за спины варнака, толкнула дверь. Крикнула толкающимся за дверью конвоирам: — Открывай, уроды!

— Лось, открой! — велел кому-то Ведро.

Откинули щеколду, открыли дверь.

— Тебя Ньюша сдала, — негромко сказал стоящий за дверью пацан.

— Знаю, — оскалилась Стрекоза. — Крыса!

Она кивнула на прощание Пастырю и вышла из камеры, растолкав пацанов. Те бросились за ней. Кто-то захлопнул дверь, задвинул щеколду.

Ведро остался в камере. Стоял, поглядывал на варнака, поглаживая «Калашникова», и как будто хотел что-то сказать.

— Ну? — посмотрел Пастырь ему в глаза.

Тот не ответил. Постоял ещё минуту в раздумье, потом бросил взгляд на доктора, буркнул «Баранки гну!» и вышел.

— Успели обработать девочку? — спросил Перевалов, едва стихли шаги пацана.

— Ты о чём, убогий? — бросил ему Пастырь.

Доктор не ответил, только покачал головой.

— Ну, что там про меня порешали? — спросил варнак.

— Завтра узнаете, — уклонился мясник.

— А что, стесняешься сказать, что ли?

— Хан сказал, что будет думать до завтра. Я просил его не трогать вас пока. Дать вам шанс.

— Ух ты! — усмехнулся Пастырь. — Шанс, говоришь? Здорово! Это какой же?

— Шанс понять и принять. Правила новой жизни, саму эту новую жизнь. Понять, что...

— Ты же знал, сволота, что Вадьку убили? — оборвал Пастырь его болтовню.

Перевалов вздохнул, потёр лицо руками, зашипел от боли. Затряс руками, причитая что-то себе под нос.

— Я ничего не мог сделать, — наконец сказал он. — Когда его принесли в операционную, он уже умирал. Я ничего не мог сделать. Ничего.

— Угу, — кивнул варнак. — А так — всё хорошо, да?

— Н-не понимаю... Что?

— Ухожу я отсюда, лекарь, — покачал головой Пастырь. — Завтра.

— Да кто ж вас отпустит! — опешил Перевалов. — Хан сказал, что...

— У меня пропуск будет, — усмехнулся варнак. — Пойдёшь со мной?

Доктор прищурился на него, погонял желваки под щеками, пожевал губами.

— Вы, Пётр Сергеевич, кажется, не понимаете, *что* происходит.

— А что происходит?

— Как вы намерены отсюда выйти, скажите на милость? Неужели станете шагать по трупам детей? То, что ваш сын погиб, ещё не даёт вам права...

— Пойдёшь или нет? — перебил Пастырь.

— Нет, — решительно ответил доктор.

— Угу... Мясом быть привычней и проще, да?

— Я не позволю вам уйти!

— Сдашь меня, что ли? — поднял брови варнак.

Лекарь поелозил на кровати, скрипя пружинами. Погасил керосинку. Не раздеваясь, лёг поверх синего байкового одеяла. Отвернулся к стене.

— Да, — ответил через минуту.

— Ну-ну, — покачал головой Пастырь. — Ты не торопись, подумай хорошенько, док. Я ведь могу уйти тихо. А могу — с шумом и треском. Я в любом случае уйду. Хана кончу и уйду. Но если пацаны начнут сопротивляться, будет много раненых... Так что ты подумай: стоит ли шум поднимать.

Перевалов не ответил. Прикинулся спящим. А может, и правда спал. Совесть-то чиста у человека, чего... Он же о детях печётся.

Не спалось. Пастырь ворочался с боку на бок на вонючем матрасе, скрипел зубами от злобы и бессилия, от безнадюги и нетерпения.

А время текло медленно-медленно. В темноте оно, кажется, замедлило свой ход, задремало. Торопи его, не торопи — только молчит и глумливо лыбится, сволочь!

Он представил уже десяток способов, которыми будет убивать царька. Хрустели непроизвольно сжимавшиеся кулаки, раздувавшиеся ноздри втягивали провонявший клозетом спёртый воздух.

Пастырь шипел в узкоглазую рожу: «Ты, мразь, лишил меня будущего. Ты меня прошлого лишил, ублюдок!» и сдавливал окаменевшими пальцами горло Хана. Тот хрипел, мочил штаны и медленно умирал. Чтобы через мгновение снова ожить и принять другую смерть — сдохнуть под громоздким Пастыревым кулаком, ломающим его приплюснутую переносицу, превращающим в месиво губы и глаза, дробящим лоб...

— Пётр Сергеевич! — кричал он.

— Какой я тебе Пётр Сергеевич, мразь! — с перекошенным ртом отвечал Пастырь, ломая ублюдку шею.

— Пётр Сергеевич!

Он вздрогнул, открыл глаза.

— А? — отозвался в темноту.

— Ничего, — сонно произнёс со своей половины Перевалов. — Вы стонали. Сердце как у вас?

— Нет у меня сердца, — ответил он.

Отвернулся к стене. Повозился на тощем и холодном матрасе. Уснул.

21. Подрыв

Когда Пастырь проснулся по своему обыкновению в половине седьмого, Перевалов уже сидел на кровати.

Приглушённо светила керосинка. На тумбочке стояла на спиртовке эмалированная, облезлая и закопчённая, кружка. Закипала вода.

— Я в шесть встаю, — пояснил док в ответ на удивлённый взгляд варнака. — Привычка. Кофе будете пить?

— Кофе? — у Пастыря глаза полезли на лоб.

— Ну да, — улыбнулся Перевалов, довольный произведённым эффектом. — Настоящий причём.

Он подкрутил керосинку, добавил света. Бормоча что-то себе под нос, напевая, снял кружку с огня, погасил спиртовку. Настроение у доктора, кажется, было отменное с утра.

Разлил по приготовленным кружкам кофе, подошёл с одной к решётке.

Пастырь, потирая глаза, принял кружку. Потянул носом давно забытый аромат — аж морозец пробежал по спине.

— Ага, — довольно кивнул Перевалов, заметив. — Я, знаете ли, с тревогой думаю о том дне, когда запасы кончатся. Есть, конечно, ещё растворимый — полно, можно сказать, — но кому оно нужно, это пойло.

— Я вот что подумал Пётр Сергеевич, — заговорил он тихо, поставив табурет у разделительной решётки, усевшись и отпивая кофе. — Вот что я хочу вам сказать... Предложить.

— Угу, — кивнул Пастырь замолчавшему доктору, ожидая продолжения.

Тот, обжигаясь и отдуваясь, сделал несколько глотков, блаженно повёл плечами.

— Вы, Пётр Сергеевич, горячку не порите всё таки, хочу я вам сказать. У меня, знаете ли, Хан тоже в печёнках сидит. Он, конечно, молодец, но не доведёт он мальчишек ни до чего хорошего.

— Это что же? — усмехнулся Пастырь. — Бунт на корабле?

— Да вы не смейтесь, — покачал головой Перевалов. — Чтобы детям выжить, им нужен толковый... руководитель. Не атаман безбашенный, каковым, собственно, является Хан. А именно руководитель. Наставник. Отец.

— Типа тебя?

Перевалов удивлённо посмотрел на варнака. Потом затряс головой:

— Да нет, что вы. Я — врач. В этой должности и останусь. А вот вы, Пётр Сергеевич, вы — как раз то, что нужно. Опытный, серьёзный, умелый, мужественный человек, который может стать для детей прекрасным примером, опорой, воспитателем...

— Я зэка, — усмехнулся варнак.

— Да полноте, милейший, не юродствуйте! — отмахнулся док. — Уж в чём другом, а в людях-то я разбираюсь. — И улыбнулся: — Я же хирург. Знаю людей не только снаружи, но и изнутри, хе-хе.

— Ну да, — вставил Пастырь. — Тебе ли не знать, мяснику-людоеду.

Доктор похмурился, понюхал кофе, отпил.

— Я не ел человечину, — сказал он. — И мы это прекратим, разумеется. Уведём детей в деревню. Организуем коммуны. С едой проблем, думаю, не будет. Руками вы работать

умеете, не сомневаюсь. Головой — тоже. Можете многому научить детей. Так что с голоду не умрём...

Я вчера с Ханом долго разговаривал. Убеждал его, что от живого от вас пользы будет больше. Не знаю, убедил ли. Боится он вас — это очевидно. Боится и потому хочет убрать с дороги. В общем, всё что вам нужно сделать — это подождать до вечера. Если Хан примет... всё таки неправильное решение, тогда я сам лично помогу вам убрать его. Но при условии, разумеется, что дети не пострадают и что вы займёте его место.

Вот вы мне скажите, Пётр Сергеевич, куда же это и зачем вы рвётесь уйти? У вас ведь... простите великодушно, но... у вас ведь никого не осталось. Ну, уйдёте вы, в никуда... А совесть потом не замучает, что бросили детей на этого пришибленного Хана?

— Ну, ты это... Ты, мясник, совесть мою пока в покое оставь. Тебе до неё никакого дела нет. Ты о *своей* подумай.

Пастырь поднялся, вернул Перевалову пустую кружку.

— За кофе спасибо, — буркнул он.

— Да не за что. Так вы согласны?

— Ты же не дурак, вроде, док, — вздохнул Пастырь. — Ты же должен понимать, что невозможно Хану быть живым, пока я жив. И предлагаешь мне его пятку целовать. Да если бы не эта мразь, ничего бы не было! Оставались бы пацаны людьми. Сидели бы в лагере, под присмотром врачей и педагогов. А не жрали бы человечину.

В коридоре послышался топот ног. Шли, кажется, караульные. Раненько же! Невтерпёж, наверное, Хану кончить его, Пастыря.

Ну-ну...

Под хмурым взглядом доктора варнак достал из-под ремня жгут, сложил вдвое, метнулся к двери, встал сбоку, прижимаясь к стене, приготовившись. Приложил палец к губам: тс-с-с!

Лязгнула задвижка, дверь открылась во всю ширь, рванулся внутрь камеры сноп света от фонаря..

— Не входите! — крикнул вдруг Перевалов.

Шедший первым не понял сразу, не остановился — лишь сбавил шаг немного, бросил на мясника удивлённый взгляд

Пастырь одним движением схватил его за грудки, подтянул, приподнял вровень с собой, ударил головой в переносицу и отбросил внутрь камеры. Не медля ни секунды врубил второму основанием ладони в челюсть. Пацана как ветром сдуло — унесло к решётке, бросило на пол.

Стоящий за их спинами Меченый соображал быстро, но просуетился. Первым его движением было дёрнуть из-за спины автомат. Потом, видать, сообразил, что не успеет, и схватился за штык-нож на поясе. А время-то — ушло. Когда он, наконец, выдернул нож, Пастырь уже подступил к нему. Перехватив руку, с отяжкой хлестнул пацана жгутом. Резина шустро обвила горло, сдавила. Пастырь отпустил жгут, нырнул Меченому за спину, поймал его шею в сгиб локтя, потянул малолетку на себя, забрасывая его на корпус, как куль муки. Покрасневший от натуги пацан захрипел, задёргался, задрывал ногами, не в силах втянуть в лёгкие воздух. Секунд через десять — затих.

— Отпустите, — прошипел со своей половины Перевалов, испуганно выпучивая глаза. — Вы же его задушите!

— И что? — просипел варнак, бросив на него быстрый взгляд.

— Так нельзя, — произнёс тот, опуская глаза. — Это ребёнок!

— Ага, — усмехнулся Пастырь, сваливая обмякшее тело Меченого на пол, подбирая обронённый «калаш». — Только вчера из подгузника вылез.

Быстро прыгнул к завывающему в углу первому, что сидел на полу, закрыв разбитое окровавленное лицо ладонями, из-под которых вытекали кровавые сопли, выдернул из кобуры у него на поясе «макара», подобрал валяющийся рядом фонарь.

Скачок обратно к Меченому, который уже поднялся и теперь сидел на заднице, у входа, мотая головой, приходя в себя. Заграбастал его в охапку, швырнул в камеру, выскочил в коридор, захлопнул дверь, дёрнул задвижку, повернул упор. Всё.

Всё. Ну, теперь поиграем, ребятки... В «Зарницу».

— Не убивайте мальчишек! — услышал он из камеры Перевалова. — Не берите грех на душу, Пётр Сергеевич!

Пастырь прыгнул к соседней двери, открыл.

— Выходи! — крикнул доктору.

Тот отчаянно замотал головой.

— Нет! — просипел он, почему-то краснея. — Нет! Я не пойду с вами!

— Ты — дурак? Давай быстро, пока эти не прочухались!

Заскочил в камеру, схватил доктора за грудки, поволок за собой к выходу. Тот упирался, пыхтел, смешно семеня ногами под мощной силой варнака, устремившегося наружу.

Вытащив доктора из клетки, захлопнул дверь. Посветил ему в лицо, заставив жмуриться.

— Оружие тебе не даю, — прошептал быстро. — Нет у меня к тебе особого доверия. Пальнёшь ещё в спину... Поэтому никаких лишних движений не делать, быть на виду. Дёрнешься не в ту сторону — ушибу как щенка. Понял?

Перевалов, жмурясь, отворачиваясь от фонаря, кивнул. Кажется, он готов был заплакать.

Пастырь сплюнул, осветил коридор, двери.

— Веди к Хану, — велел мяснику.

— К нему не пройдёте, — снова замотал головой доктор. — Только через мальчишек.

— Веди, сучок!

Мясник ссутулился, задумался на секунду.

— Со двора можно зайти, — сказал вполголоса. — Там есть дверь на лестницу.

— Так давай, не рассусоливай!

В дверь камеры заколотили изнутри, заорали.

— Ну-ка тише вы, гоблины! — прикрикнул на пацанов Пастырь. — Ща зайду, уделаю всех.

— Ты покойник! — послышался голос Меченого. — Тебя самого уделаем, понял?!

— Светите мне! — шепнул доктор, устремляясь по коридору. Кажется, он, наконец, решил что-то. Вот только — что? Подставит, скотина, ох подставит!

Вслед за мясником он прошёл гулкой подвальный коридор, поднялся на первый этаж. Было рано. Пацанва, наверное, раньше девяти — когда у них смена караулов — не вставала. Хан, видать, хотел Пастыря потихоньку завалить, пока ребятня спит. Поставить потом перед фактом и вся недолга. Забоялся, наверное, недовольства.

По лестнице поднялись на первый этаж — в какие-то казённые помещения, тёмные и сонные. Поплутав немного, вышли в пустынный кассовый зал. Пересекли его на цыпочках и спустились в подземный переход. Спящего на лестнице пацана Пастырь трогать не стал — спит дитё, ну и пускай себе спит. Осторожно обогнули его и двинулись по вонючей

подземке. Свернули в служебный ход. Здесь тянулся толстый кабель — видать, от генератора. Вдоль этого кабеля и пошли.

Вышли на поверхность, в небольшой внутренний дворик вокзала, с небольшим убогим фонтаном и парой тополей, под которыми уцелели скамейки и урна курилки. Посматривая на крышу, где дремал, наверное, «аист», метнулись к облезлой зелёной двери.

За дверь действительно оказалась лестница на второй этаж. От небольшой площадки короткий коридор уводил к служебным помещениям — к полицейской дежурной части, кажется, в которой провёл Пастырь прошлую ночь.

На втором этаже вышли к углу небольшого фойе. Выглянули краем глаза. В стоявших вдоль стены казённых пластиковых креслах, неудобно спали четверо пацанов.

— Охрана, — шепнул врач Пастырю в ухо. — Там, дальше, зал отдыха. Там много мальчишек. Старшие. Осторожно!

Пастырь кивнул.

— Хан живёт в кабинете начальника вокзала, — продолжал мясник. — По коридору нужно будет идти очень тихо. Но там дорожка.

Варнак снова кивнул, подтолкнул доктора.

Тот на цыпочках устремился к двери в контору.

Войдя, прикрыли за собой дверь, передохнули секунду. Здесь, в конце длинного коридора с деревянными полированными дверьми, с табличками «Бухгалтерия», «Отдел кадров» и ещё пятком подобных привычно-бюрократических, везде и всюду одинаковых надписей, видна была в свете фонаря роскошная тяжёлая дверь с двумя коричневыми табличками: «НАЧАЛЬНИК ж/д вокзала Михайловск-Пассажирский» и «Секретарь». Перевалов кивнул: туда!

Пастырь боялся, что дверь окажется закрытой изнутри. Но Хан, видать, уже не спал — понятное дело. Поэтому, почуяв, что ручка опускается свободно, варнак резко рванул дверь на себя, ворвался в пропахший душным сном и слабо освещённый тусклым рассветом кабинет, заметался лучом света по стенам, укрытым панелями. Дёрнул вторую дверь, из приёмной в кабинет, прыгнул внутрь.

Хан спал. Сидел за столом, положив голову на руки, и спал. Когда Пастырь протопал по паркету, он проснулся, но не резко, без суеты, без тревожности. Да и понятно, чего ему было тревожиться. Он и предположить не мог такого развития событий, не ждал гостей.

Когда его узкие заспанные глазёнки непонимающе уставились на вошедших, Пастырь повёл в его сторону стволом автомата, улыбнулся, кивнул:

— Доброе утро, гнида!

Доктор тихонько прикрыл за собой дверь, щёлкнул замком, виновато пыхтел сзади.

Хан посмотрел уже осмысленным взглядом на Пастыря, на доктора за его спиной.

— Что, док, продал? — спросил вполголоса.

— Продал, — кивнул доктор. И добавил сиплым и подрагивающим от волнения голосом: — Ты, Чингиз, извини, но ты слишком много на себя взял. Не унести тебе столько.

Хан перевёл свой узкий взгляд на лицо Пастыря.

— Ты всё равно не сможешь уйти, мужик, — сказал он. В отличие от доктора, царёк был, кажется, спокоен. Или хорошо собой владел. — Ты же не станешь стрелять в пацанов. А они тебе уйти не дадут.

— Разберёмся, — бросил Пастырь подходя к столу, высматривая оружие.

— Автомат — там, — кивнул Хан в угол, где под журнальным столиком, действительно

примостился «калаш».

— Угу, — кивнул Пастырь. — А пистолетик?

— Пф-ф-ф! — брезгливо поморщился Хан. — Фуфло. Не люблю.

— Угу... Ну ладно.

Не сводя глаз и ствола с Хана, обошёл вокруг стола. Подхватил «калашника», перекинул за спину.

— Что с Меченым сделал? — спросил Хан. — С пацанами?

— Да жив твой Меченый, — бросил Пастырь.

— Меченый — правильный пацан, — кивнул Хан. — Самый правильный. На него только и можно положиться. Остальные — шелупонь.

Заглянул варнаку в глаза, кивнул на стул, стоящий напротив.

— Садись, мужик, поговорим. Я ведь их за тобой послал — обсудить кое-что хотел.

Предложение сделать.

— Я ж не девка, — усмехнулся Пастырь. — Зачем мне твоё предложение.

— А ты не торопись, — улыбнулся и Хан. — Убить меня успеешь. Если сумеешь, — улыбнулся ещё шире. — А чего не поговорить... Разговор может полезным для тебя быть. Может, разойдёмся по-мирному, чтобы пацаны не пострадали. Они же дети ещё, не виноваты ни в чём.

— Ишь ты! — покачал головой Пастырь. — Как запел-то!

Хан перевёл глаза на мясника, прячущегося за спиной Пастыря.

— Ты ему всё сказал, что я просил?

— Что сказал? — не понял доктор. Или сделал вид, что не понял.

Пастырь на всякий случай отступил к окну, чтобы никто у него за спиной не маячил.

— Ты, док, мне никогда не нравился, — продолжал Хан. — Хитрый ты.

И Пастырю:

— Он, похоже, твоими руками решил...

— Не верьте ему! — вскрикнул доктор и тут же, испугавшись громкости собственного голоса, перешёл на шёпот: — Не верьте ему, Пётр Сергеевич. Ушлый, мерзавец!

— Короче, — произнёс варнак. — Мне до ваших разборок дела ноль.

А Перевалов сделал шаг к Пастырю, встал рядом, опираясь на подоконник.

Чего жмётся, поганец?! Хана до такой степени боится? Или правда замышляет что-то?..

Хан заметил брошенный Пастырем на доктора искоса взгляд. Усмехнулся.

— Правильно опасаясь, — произнёс натянуто. — Он любит в спину бить.

— Пётр Сергеевич, — начал было доктор, хватая за локоть, — вы...

— Нож! — крикнул вдруг Хан

Пастырь отпрыгнул от доктора, вырывая из цепких пальцев локоть. Не рассчитал, засуетился — опрокинул журнальный столик, навалился, кое-как сохранив равновесие. Ханов автомат выпрыгнул из-за спины, соскользнул ремнём по руке, повис на сгибе локтя, мешая, отвлекая.

Мясник метнулся, схватил за плечо.

Может быть, поддержать хотел, но Пастырь на взводе был — не до сантиментов: двинул ему локтем в грудь, отталкивая.

И тут же получил удар сбоку, со стороны подскочившего с места Хана. Нос хрустнул. Лопнула губа, моментально наполнив рот солёным. На глаза навернулись рефлекторные слёзы. Пастырь отпрыгнул назад, наваливаясь на мясника, роняя его на пол. Поднял автомат,

моргая, чтобы согнать слезу.

Хан, уже выскочивший из-за стола, вдруг крутанулся волчком. Удар ноги пришёлся под скулу, в шею. Хорош был удар — шея хрустнула; Пастыря отбросила, повалила на пол, рядом с копошащимся мясником, явившаяся ниоткуда пьяная истома. В голове глухо зазвенело, стирая все звуки извне.

А Хан одним прыжком оказался на столе, сделал быстрый шаг и подпрыгнул, рассчитывая, наверное, обрушиться на голову лежащему Пастырю, сверху, всей массой.

Да промахнулся. Стол не выдержал, накренился. Нога Хана соскользнула, и он, нелепо взмахнув руками, грохнулся, затрещал спиной, пришедшейся на ребро столешницы.

Болтая головой, отфыркиваясь и сплёвывая кровь, Пастырь отполз, поднялся. Встал, пошатываясь, выискал мутным взглядом Хана, который сидел рядом с завалившимся столом, поводит лопатками и кряхтел: дыхание в зобу, видать, спёрло у Тохтамыша — хорошо хрястнулся спинякой.

А поднявшийся мясник вдруг дёрнул, потянул с руки у Пастыря автомат.

— Э-э! — промычал варнак. — Стоять, б**!

— Стреляйте, Пётр Сергеевич! — чуть не плача простонал доктор в попытке управиться с Хановым автоматом, который и взведён-то не был.

Пастырь одним движением отбросил мешающегося доктора к окну. Зазвенело, посыпалось стекло, разбитое локтем Перевалова.

С такой шумихой они, наверное, уже всех перебудили...

А Хан, морщась, подскочил. Не теряя времени лягнул варнака в бедро. Но по нерву не попал, слава богу. Тут же подпрыгнул, выбросил ногу вперёд, целясь в лицо. Пастырь успел отклониться. Тохтамышев автомат, в ремень которого мёртвой хваткой вцепился мясник, пришлось бросить.

Поднял свой, но выловить Хана в прицел не успел. Тот изогнулся, пнул в плечо, под ключицу. Пастыря развернуло, а Хан уже опять взвился в воздух, закручиваясь волчком.

И снова зазвенела в голове одуряющая тяжесть — удар ногой пришёлся по черепу, по уху.

Тхэквондо, говоришь? Сколько там лет-то?..

Молодец, гадёныш, даром времени не терял. Пока другие в подворотнях косяки крутили, ты фуэте крутил. И будь Пастырь не таким меднолобым упёртым быком, взяла бы сейчас твоя, Тохтамыш хренов.

Ну, и Мяснику спасибо: навалился на Хана сзади, повис, обхватывая, прижимая царёвы руки, пытаясь свалить, давая Пастырю время очухаться.

Хан выматерился, рубанул пяткой доктора по ступне и, сразу, — по голени. Мясник взвыл, отпуская противника. Хан рывком высвободил руки, шагнул к Пастырю.

Но тот уже выловил момент, двинул ему снизу подбородок. Тело Хана устремилось вслед за головой — в угол. Ударилось о стоящий там здоровенный несгораемый сейф. Тот задрожал, загудел утробно. А Хан сполз по нему, сел на пол, пьяно мотая головой.

— Вот так... — кивнул Пастырь, переводя дыхание, едва ворочая языком, пробуя на вкус вздувшуюся губу. — Но шустёр же, гадёныш, до чего!

Голова гудела, звонили под черепом колокола; в шее похрустывало что-то при каждом движении, в ухе катался туда-сюда и грохотал тяжёлый шарик. Больше всего хотелось лечь, отдохнуть, уснуть.

— Вы как, Пётр Сергеевич? — спросил испуганно жмующийся к стенке доктор. Голос

доносился будто издалека откуда-то.

— Жив, — промычал Пастырь, поднимая брошенный автомат, снова вешая его за спину.

И велел:

— Давай, на выход!

— А этот как же? — мясник кивнул на копошащегося у сейфа Хана.

— Давай, док, давай, не тормози! — прикрикнул Пастырь, хватая доктора за плечо, подталкивая к выходу. — Этого я оформлю. Ты натура нежная, тебе ни к чему...

Стукнула дверца сейфа. Пастырь спиной почувал, какое-то ненужное движение позади. Резко прыгнул в сторону, разворачиваясь, беря наизготовку «калаш».

Брошенный Ханом нож пронёсся рядом, в двух ладонях от груди. Мягко ударил в спину Перевалова, направлявшегося к двери. Тот удивлённо хакнул, вздрогнул и, будто зябко, поведя плечами, повалился вперёд.

Хан прижался к дверце сейфа, испуганно переводил взгляд с упавшего доктора на окаменевшее лицо Пастыря.

Вот же гнида ты, а не Хан!

Варнак вытянул в его сторону руку с автоматом. Лицо его перекосилось, как у человека, готового с отвращением раздавить голой рукой жирного таракана.

Узкие тюркские глазёнки царька наконец-то раскрылись — расширились навстречу смерти.

— Ну ты и мразота! — прошептал Пастырь. — Страшно?

Хан быстро и мелко кивнул.

— Ха-ха, — скривился варнак. — Смотрите, пацаны, ему страшно!.. С-с-сучёныш...

Палец лёг на спуск, но что-то не давало выстрелить...

Пацаны и не давали. Та мелочь пузатая, которая останется здесь после Пастырева ухода и непременно погибнет, превратившись в стаю голодных и безнадзорных зверёнышей. Перегрызут ведь друг друга.

А с другой стороны — ничего, не страшно... Уйдут в город, найдут там людей. Те их оприходуют, прикормят, не дадут сдохнуть-то, небось.

Да и кроме Хана тут гадов смердячих, среди старших, ещё полно, которые с радостью займут его место. Тот же Меченый, или Ведро.

Автомат дёрнулся, гавкнул...

Дожал таки палец — против воли и размышлений взял и дожал.

Хан подпрыгнул на месте, хватаясь за бок, сполз по сейфу на корточки, оставляя на крашеной дверце красный след, опуская голову; зашипел, закричал от боли.

Пришлось нажать ещё раз...

Присел над Переваловым, который так и не шевельнулся — лежал уткнувшись лицом в грязный паркет; лежал тихо, но, кажется, был жив ещё. Из-под лица его показался край алой ленточки — кровь.

— Ты как, док? — спросил, касаясь плеча.

— По... дых-х-х..., — выдавил тот, не шевелясь. — Вы... его..?

— Да. Чем тебе помочь?

— Зря, — прокряхтел то, — всё же... боюсь...

— Потерпишь, если на себя взвалю?

— Не на...

— А?

Доктор не отозвался. Пастырь увидел, как мелко-мелко задрожали у раненого пальцы на принявшейся сжиматься в кулак ладони.

— Ох! — отчётливо выговорил-простонал мясник. Потом напрягся и враз обмяк — отошёл.

— Ну и ладно, — кивнул Пастырь. — Пусть бог с тобой разбирается. Ему видней.

22. Шухер

Утренний отроческий сон крепок. Когда Пастырь, чуть приоткрыв дверь из конторы, выглянул наружу, четверо пацанов спали как ни в чём не бывало в своих креслах. Приглушённые стенами и тремя дверьми выстрелы не проникли в их сны, в которых они сидели на скучных уроках или гоняли по просёлку на мотоцикле, или щупали в подъезде девчонок. Дрыхли, в общем, пионеры.

Спите, ребята, спите.

Ну что, пойти сейчас в зал, объявить побудку? Сказать: ну что, пацаны, я ваш новый командир, прошу любить и жаловать. Начнут палить, нет? Или преисполнятся, прочувствуют и возрадуются?..

Сомнительно что-то...

С младшими такой финт ещё прокатил бы, а со зверьками второго этажа — вряд ли. Если тут хотя бы половина таких, как Меченый, то очень даже вряд ли.

Поэтому линять надо отсюда по-тихому, пока спят пионеры.

Стрекоза!

Девочку бы выгнать из этой кофлы. Увести в Дубасовку. Может, живы её родители ещё.

Пастырь прокрался той же дорогой назад, спустился по лестнице, вышел на улицу.

Рассветное небо хмурилось, грозило дождём. Мёртвая тишина смешивалась с туманом, окутывала грязно-зелёное здание вокзала, стлалась по белой крыше, пряча дремлющего «аиста» и скрывая от него окружающий мир.

Туман — это хорошо. Это очень полезная сейчас штука.

Автомат Хана Пастырь бросил там же, в кабинете, магазин только выдернул. Выгреб из сейфа ещё четыре магазина, распихал по карманам. «Калаш» с таким боезапасом — это очень здорово. Не со шпаной воевать, конечно, а — на будущее. Это тебе не обрез. Автоматы у него случались по дороге домой, но боезапас всегда был проблемой. А тут...

Он мог бы сейчас уйти. Туман скрыл бы от «аиста». Перемахнуть забор, выйти на привокзальную площадь. Мог обойти вокзал и ворваться в нижний зал, где уже просыпалась, наверное, потихоньку шпана.

Но он не сделал ни того, ни другого. Постоял, подышал туманом и, вздохнув, вернулся обратно.

Прошёл по коридору прямо, мимо пропускного пункта, через который ходили, наверное, на службу менты, мимо двери начальника ЛОМ, мимо актового зала, пустой оружейной комнаты — к дежурке. В подвальные камеры Стрекозу не приводили, значит, она либо в клоповнике сидит, либо...

Нет, это второе «либо» нужно отбросить, это нехорошее «либо».

Он вошёл в дежурку, повернул направо, к клетке.

Навстречу, из туалета, вышла девчонка лет четырнадцати. Увидев варнака, взвизгнула, подалась назад.

— Тише! — велел Пастырь. — Тише, маленькая, чего шумишь.

Она кивнула, продолжая пятиться.

— Угу, — улыбнулся варнак, повернулся к камере.

Стрекоза лежала на скамейке. Натянув на голову ветровку, спала.

С минуту Пастырь, улыбаясь, смотрел на свернувшуюся в калачик девочку. Потом взял со стола связку ключей, подошёл к замку.

И тут вдруг тюкнуло в лопатку острой болью. Шипя, он отдёргнулся, повернулся. Едва успел перехватить руку с ножом, направленным куда-то в бок. Та девчонка, видать, целилась первым ударом в шею, да не дотянулась — низкая слишком, хлипкая.

— Э-э, ты чего это, а? — опешил пастырь. Держа малявку за руку, криво улыбаясь, не зная, что делать и говорить, выдохнул: — Ты дура, что ли?

В её маленьких глазёнках плескался страх вперемешку с какой-то липкой и расчётливой — совсем не детской — ненавистью.

— Ну, ты и..! — покачал он головой, выдёргивая из её руки нож. — Пошла! — подтолкнул её обратно в туалет, захлопнул за ней дверь.

— Попробуй только выйти раньше, чем через час! Башку отвинчу!

Лопатка ныла. Чувствовалось, как сочится кровь, прилипает к телу рубаха ниже раны. Вот шпана, всего изуродовали!

— Сволота! — выругался он себе под нос. — Пионерка, етит твою...

Стрекоза завозилась, стянула с головы ветровку, ошарашенно уставилась на Пастыря, с трудом его, видимо, узнавая.

— Ни фиги себе! — произнесла она ломким сонным голосом, поднимаясь и садясь на скамье.

Нужный ключ наконец-то нашёлся. Он открыл, бросил замок на пол, отворил дверь:

— Привет! — улыбнулся обалделому взгляду Стрекозы.

— Привет, — отозвалась она, пытаясь улыбнуться. — Это кто ж тебя так, дядь?

— Это ещё что! Тут вон... — Пастырь поморщился от боли, кивнул в сторону клозета. — Такая шустрая девочка!.. У вас тут все такие?

— Шустрая, говоришь?

Стрекоза торопливо поднялась вышла из камеры, заглянула в туалет.

— А-а, — протянула она. — Нюша, юбочка из плюша!

Зашла внутрь кабинки. Девчонка смотрела на неё, окрысившись, прищурясь.

— Что, Нюш, — усмехнулась Стрекоза, — пи-пи? Так это *ты* по туалетам ссышь? Говорили же, на улицу ходить, чтоб вони не было!

И ткнула её кулаком поддых — резко, тренированным ударом. Девчонка сложилась, повалилась на унитаз, растопырив ноги, пискнула, ударясь о фаянс копчиком. А Стрекоза, перекосившись лицом, с ненавистью во взгляде, звонко, с размаху, вlepила ей по физиономии. И ещё раз.

— Э-э, — недоуменно протянул Пастырь. — Ты это, Стрекоза...

— Да ничего, — равнодушно бросила та, повернувшись, уже улыбаясь, — всё нормально, дя Петь.

— «Дя Петь», — хмыкнул варнак.

— А что? — она захлопнула туалетную дверь, задвинула шпингалет, заглянула Пастырю в глаза, — Нельзя?

— Да валяй, — буркнул Пастырь.

— А тебя выпустили?

— Ага, выпустили, — покривился в болезненной усмешке Пастырь. — Погулять.

— Понятно, — кивнула она, приходя в своё обычное, наверное, весело-задиристое настроение. — Так тебя разукрасить мог только Хан, — задумчиво покачала головой. — Ну,

Меченый ещё... но это вряд ли.

— Хорош разговаривать, поторопил он. — Уходить надо отсюда. Я ведь только за тобой и пришёл.

— А куда уходить?

— Ну, пока просто — отсюда. А там видно будет.

— Не, — испуганно покачала она головой. — Там краснуха.

— Нет там никакой краснухи давно, — ответил Пастырь, беря её за плечо. — Давай-ка, подруга, не будем терять времени.

А времени и правда не было. Сзади — оттуда, откуда пришёл пастырь, — послышались крики, топот ног по лестнице. Видать, проснулись охранники. Заглянули к Хану, который чего-то долго не показывался. А там... А может, увидели капли Пастыревой крови на полу. А может, Меченого нашли.

— Ну всё, — бросил он, выталкивая Стрекозу из дежурки. — Ходу, Оленька, ходу!

Уже когда они добежали до залов, услышали сзади:

— Вон он!

И следом хлопнул «макар» — раз, другой.

Заскочили в зал ожидания.

Пацаны уже вставали. Копошились на нарах, сидели на креслах и подоконниках, курили.

Когда выскочили вдруг Пастырь и Стрекоза, когда хлопнул «макар», а потом ещё грянул автомат, пацаны заорали, засуетились. Посыпались стёкла из огромного окна, выбитые автоматной очередью.

Придурки! Хорошо, что никого из мальчишек не положили.

Под очумелыми взглядами шпаны (никто даже и не дёрнулся за оружием), они бегом миновали зал и выскочили на перрон.

Туман сгустился, так что Пастырь не увидел сидящего на мосту стрелка. Ладно, значит, он их тоже не видит.

— Шухер! — закричали в зале.

Ну, шухер так шухер...

Дёрнул Стрекозу за руку, потащил за собой в туман, стелющийся над рельсами. Показал в сторону пакгаузов, смутно видневшихся по ту сторону «железки».

— Дуй туда, — велел. — В тумане тебя не засекут. Будешь ждать меня там, у дальнего блока. Если меня зажмут и через полчаса я тебя не догоню, уходи на стеклозавод и жди меня там. Я всё равно приду.

Она кивнула, но бежать не торопилась.

— Давай, девка, давай! — прикрикнул он. — Чего рот разинула!

— А ты?

— А я, а я, — развернул её, подтолкнул в спину.

Из вокзала выбежали трое. Из старших, видать, из охраны на втором этаже. Он, не думая, провёл короткой очередью поверх голов. Пули зацокали в стену над пацанами, брызнули битым стеклом и отбитой штукатуркой. Салаги присели, попятнулись обратно в здание. Взвизгнула от неожиданности Стрекоза, закрывая уши ладонями. Пастырь ещё раз толкнул её в спину, крикнул:

— Быстро, твою мать! Бегом!

Она послушалась, рванулась в туман. Перепрыгивая рельсы, подскользнулась. Пастырь

думал, расшибёт себе голову девчонка, но ничего — устояла, выправились, побежала.

Выстрелы разбудили, наверное, внешних часовых: справа, с моста, послышался неуверенный хлопок. Пуля жახнула по двери, едва не зацепив кого-то из пацанов, которые за ней присели. Вот же шпана, блин, балбесы! Поубивают друг друга в этом шухере...

Пастырь дал, на всякий случай, ещё одну короткую очередь. Пули градинами простучали по перрону у входа в вокзал, выдрали щепки из открытой створки.

Потянул носом влажный холодный запах осеннего тумана, к которому примешивались запахи пороха и мокрых рельс. Зима скоро...

Ну, теперь — ходу!

Светлую ветровку стрекозы уже почти не было видно — терялась, сливалась с туманом где-то у третьей платформы. Это хорошо. Метров через двадцать и сам он потеряется из виду.

Добежав до стопки бетонных плит у забора, присел, оглянулся.

Пацаны гурьбой высыпали из здания, бестолково толпились у входа. Потом разделились на две группы. Одна ринулась по деревянным мосткам через рельсы — решили, наверное, обойти с фланга. Другая бегом направилась в сторону Пастыря. Они, похоже, потеряли его из виду, не могли рассмотреть в тумане, прижавшегося к плитам.

И тут, откуда-то сзади, треснул одиночный выстрел. У самого уха Пастыря громко щёлкнуло. В скулу ударили бетонные брызги.

Выматерившись, он повалился на щебёнку, оглянулся назад.

Вдалеке, у той самой сторожки, где давеча его взяла Стрекоза, промаячил мальчишеский силуэт. Пацан, видать, отбежал, спрятался за углом избушки. Судя по выстрелу, у него «макар». И управляется с ним мальчиш-плохиш не так уж плохо.

Ну-ну... И как бы этого щегла обойти?..

Группа, приближающаяся со стороны вокзала наконец увидела варнака. Захаркали автоматы, заплевали всю стену стоящей рядом мастерской. Несколько пуль ударились в плиты, одна разбрызгала щебёнку у самой ноги. В группе была, кажется, шелупонь в основном — младшие.

Пастырь стрельнул одиночным по верх мальчишеских голов. Раз, другой. Потом дал короткую очередь. Но пацаны, как в кошмарном сне, продолжали бежать вперёд, крича и треща очередями, не обращая на аргументы Пастыря никакого внимания.

Вот же дурачьё! Вы же не в войнушку играете, балбесы, и не в компьютерную стрелялку. Тут ведь жизнь — одна всего, и переагрузки не будет. Куда ж вы ломитесь-то, зайцы!

Он отполз за штабель, прикидывая, как извернуться и уйти из-под их обстрела. Увидел, как повалился высунувшийся из-за угла сторожки тот пацан с «макаром», что стрельнул в него минуту назад. Завалили, балбесы! Добралась до мальчишки лихая пуля.

Пастырь вскочил, со всех ног рванул вдоль забора туда.

Присел над пацаном. Смерть ударила его точно в лоб, как раз между бровей — вынесла затылок. Глаза шкета — лет тринадцать всего-то — уставились в небо. В них ещё тлел лихой игровой азарт.

Отыгрался парень...

И тут — рвануло.

23. Протопи ты мне баньку по-белому...

Кто-то бросил гранату. Бросили с той стороны железки, из группы старших, которая отправилась в обход и теперь рассыпалась по технической ветке. Бросали, видать, из задних рядов, потому что передние, ничего не поняв тут же попадали, залегли.

Взрывной волной Пастыря отбросило на стену, ударило спиной и затылком так, что перехватило дыхание, а в глазах замелькали-забегали разноцветные покемоны. Оглушённый, он повалился сверху на труп пацана. Как будто из пропасти, или наоборот откуда-то сверху, с облаков, донеслись до него радостные крики набегающей шпаны.

Скатился с мёртвого хлопца. Заставляя себя не закрыть глаза, не вырубиться, не ослабеть, провёл очередью поверх мальчишеских голов, прижимая к земле залегших. Вскочил, побежал за мастерские. Споткнулся обо что-то повалился.

И вовремя повалился, потому что где-то совсем рядом жажнул вдруг автомат. Просвистела, прочиркала над головой воробьиная стая.

У забора, за кучей металлолома мелькнула оскалившаяся рожица Чомбы.

Пастырь повёл стволом в ту сторону, нажал спуск. «Калаш» плюнул пару раз в забор над головой пацана и затих.

Всё, пуст рожок. Надо менять.

Чомба, даже не присевший под Пастыревой стрельбой, довольно ухмыляясь, сделал шаг вперёд, вышел из-за кучи. И в это время Пастырь заметил краем глаза, как за сложенными в стопку бетонными плитами справа явился силуэт пацана лет четырнадцати. Ухмыляясь, щпанец дёрнул чеку гранаты, швырнул. Придурок! Впрочем, видеть он мог только Пастыря, а Чомба остался вне его обзора.

— Ложись! — крикнул варнак, делая прыжок в сторону. — Граната!

Чомба не поверил, решил, что его берут на понт — даванул на спуск. Очередь подняла пыльцу совсем рядом с Пастырем, завалившимся за железную бочку.

Граната не долетела, упала метрах в шести и правее. Грохнуло. Бочку отбросило — она всей своей массой стремительно накатила на Пастыря, больно саданула краем по раненой лопатке, докатилась до стены ближайшей мастерской, ударилась в неё гулко, набатом. Дырок в ней было штуки четыре, не меньше.

Нос наполнился вонючей горелой пылью. Пастырь затряс головой, сбивая с волос земляное крошево и брызги щебёнки, вытряхивая из ушей оглушённость; закашлялся, сел на корточки, озираясь.

Чомба лежал в куче мусора у забора, куда его отбросило взрывом. На месте оторванной кисти бугрилось неровными кусками мясо вперемешку с лохмотьями кожи, торчал белый зуб кости. Из лопнувшего живота вывалились сизоватые верёвки кишок, испещрённые ниточками сосудов. Пацан враз побледнел. Глаза его, расширенные от боли и ужаса, смотрели куда-то внутрь, в медленно отмирающую душу.

Тресканул со стороны моста автомат. Пули россыпью брызнули по забору, выбивая осколки цемента и камешки.

Пастырь отпрыгнул, упал за рельсу, торопливо выдернул из кармана магазин, приладил, замер, выжидая. Сейчас должен высунуться тот, что бросил гранату. Краем глаза увидел, как мелькнула среди пакгаузов ветровка Стрекозы.

Добежала девка. Цела. Это добре.

Гранатомётчик появился разом — во весь рост выступил из своего укрытия за штабелем плит, держа автомат в левой руке, как игрушечный — за ремень, так, что тот болтался где-то у самой земли. Бестолочь! То ли он думал, что завалил Пастыря, то ли просто протупил шпанец. Когда его глазёнки нашарили в облаке пыли притаившегося варнака, и руки дёрнулись поднять ствол, было уже поздно. Пастырь вlepил ему одиночным в бедро. Хлопец заорал дико, повалился.

Варнак повернулся к Чомбе. Тот лежал всё так же, с открытыми глазами и слабо постанывал. Из глаз текли слёзы.

Покачав головой, и шепнув «прости, сынок», Пастырь нажал на спуск. Чомба даже не дёрнулся — отошёл в мир иной тут же и тихо.

Оглядевшись по сторонам, рванул по лохмотьям тумана к пакгаузам.

«Протопи ты мне баньку по-белому... — сипел он, меняя песенный ритм под дыхание. — Я от белого свету отвык...»

Слева лупанул кто-то длинной очередью. Непонятно было, куда стреляли, потому что ни одного воробьиного посвиста рядом Пастырь не услышал; не ударилась в стену будки, мимо которой он пробежал, ни одна пуля.

Друг друга не перестреляли бы напрочь, пионеры!

Прижимаясь к забору, за давно некрашеными приземистыми зданиями, он уходил в туман, сползающий вслед за ветерком на восток.

Сзади и сбоку то и дело молотили очередями — пустопорожне, наудачу. Удача, конечно, могла и повернуться к пацанам передом, а к Пастырю задом, когда он пробежал пустые промежутки между строениями, ну так тут уж, как говорится... всё плохое когда-нибудь кончается. И начинается худшее, хе-хе.

Забор где-то впереди должен был забирать влево, закругляясь. Там, дальше на восток, едва различимые в тумане, виднелись трубы стеклозавода.

Когда он, вынырнув, из-за последнего низкорослого здания, рванул к деревянным мосткам, уводящим через железку на ту сторону, слева выскочили из тумана двое. Одного из них Пастырь узнал сразу — это был Гнус, давешний Пастырев защитник на суде.

У «адвоката» был «калаш». Второй — лет двенадцати — запыхавшийся, совсем ещё шкет по виду, кое-как удерживал в ручонке «макара».

Солдаты удачи, б**!

Пастырь остановился, повёл на них стволом, окликнул:

— Стой, пацаны!

Они враз замерли на месте. Гнус, повернувшийся на окрик, выпучил глазёнки, отступил на шаг, бросая оружие. А шкет, ощерившись, уставился пистолетом в грудь Пастыря, нажал на спуск.

Нажал ещё раз.

Вот же балбес! Не научили тебя затвор прежде передёргивать. С предохранителя-то хоть снял?

Пастырь покачал головой, в два прыжка оказался рядом, выдернул из ручонки пацана пистолет, забросил в туман; отвесил хлопцу подзатыльник. Подобрал «калаша», выдернул магазин.

— Не убивайте, дяденька! — захныкал Гнус.

— Да нужны вы мне, — бросил Пастырь и сплюнул накопившуюся во рту кровяно-грязную солонь.

Слева, из тумана, полоснула длинная очередь. Стрелявший, видимо, решил выпустить сразу весь рожок, вдоль полотна, на ощупь. Наслаждался, видать, пацан процессом. Уже на исходе очереди одна пуля чиркнула Пастыря по заднице — порвала штаны, обожгла, рванула кусок мяса и умчалась. Другая смачно поцеловала Гнуса в щёку. Пацан дёрнул головой, вскрикнул слабо, повалился на рельсы, зажимая лицо с полуоторванной челюстью. Взвыл, захрипел.

Пастырь толкнул младшего на землю — чёрт его знает, сейчас перезарядится стрелок и даст ещё очередь.

Крикнул пацану «Лежи, не вставай!» и, пригнувшись, побежал по мосткам, стараясь не топтать, к пакгаузам.

«Протопи ты мне баньку...»

Добежал, под треск очередей и хлопки «макаров», поднимающийся то сбоку, то позади. Пацаны, похоже, уже между собой воевали вовсю. Поубивают же друг друга, бестолочи!.. Ну правда, хоть бери и сдавайся, чтобы прекратить весь этот заполошный кошмар, остановить бестолковую бойню.

Что делать-то, а? — спросил он у внутреннего голоса. — Может, правда, пойти к ним?

Иди, — ответил голос. — Убьют, так хоть от чувства вины избавишься.

Остановился у массивной металлической двери крайнего пакгауза, прижался к ней спиной, озираясь.

Пойду, наверное, — «произнёс» неуверенно.

Альтер Пастырь усмехнулся: валяй.

— Дя Петь, ты? — в щель между створками выглянул глаз Стрекозы.

— Стрекоза! — крикнул варнак, налегая на створку, бросаясь к девочке. Кажется, никогда ещё в жизни не радовался так знакомому лицу. Обнял девчонку, прижимая и чуть не плача.

Усталость, жалость к пацанам, боль физическая — всё навалилось разом так, что ноги подкосились и он, отпустив Стрекозу, присел на корточки, замотал головой.

— Там, в конце, за гаражом, ещё дверь есть, — сказала она. — Я уже посмотрела. А дальше — забор.

— Угу, — кивнул он, борясь с тошнотворной слабостью и дрожью. — Сейчас, пойдём, девонька... Сейчас...

Желудок сократился дико, исторгая бесполезную пустую рвоту. Пастырь отвернулся, повалился на цементный пол.

— Плохо? — спросила она, присаживаясь рядом, кладя руку на плечо.

— Ничего, — отмахнулся он. — Сейчас...

Постоял минуту на карачках, прислушиваясь к бестолковой пальбе снаружи. Поднялся, взял Стрекозу за плечи.

И тут сзади в спину упёрлась палка. Не палка, конечно, а — ствол.

— Не шевелись! — велел негромкий знакомый голос.

Откуда он взялся?

Так — оттуда, вестимо. Дверь-то Пастырь не прикрыл за собой.

Он послушно замер, соображая, как бы извернуться. Но извернуться не получалось. Если тот, сзади, начнёт вдруг нервничать и возьмётся стрелять, положит Стрекозу.

А она смотрела, сузив глаза, вприщур, на стоявшего позади Пастыря пацана.

— Кто там? — спросил он шёпотом, на ухо.

— Ведро, — ответила она.

— Ведро, Ведро, — подтвердил пацан.

— Хреново, — вздохнул Пастырь.

— Да уж ничего хорошего, — согласился Ведро.

— Может, я повернусь? — осторожно спросил варнак. — Да и Стрекозу отпустить бы, а то продырявишь обоих, с дуру-то.

— Так отпусти, — разрешил Ведро.

— Иди, дочка, — шепнул Пастырь. — Успеешь уйти, пока...

— Не успеет, — оборвал Ведро. Хороший, видать был слух у пацана: Пастырь ведь в самое ухо девчонке шептал.

— Так я повернусь? — спросил он ещё раз.

— Ну, повернись.

Ведро отошёл на пару шагов. Стоял в дверном проёме, широко расставив ноги в полуприседе, держа автомат наизготовку.

— Здорово, Ведро, — усмехнулся Пастырь. Поморщился, потрогал разбитую губу. — А ты чего здесь?

— Покурить вышел, — тоже криво усмехаясь, ответил тот. — Нехило тебя уделали!

Стрекоза выступила из-за спины, встала перед Пастырем.

— Ну, что дальше? — спросила.

— Давай вернёмся, Стрекоза? — неожиданно жалобно и тихо попросил пацан.

— Куда? — отозвалась она.

В стороне «железки», на мостках, заголосила шпана. Перекрикивались о чём-то. Может, раненого Гнуса нашли. Если завернут сюда, — крышка.

— И зачем? — продолжала девочка. — Хана нет. Или ты теперь под Меченым будешь?

— Не буду. Соберу пацанов и уйду. В Рабочий Посёлок. Там скотоферма была.

— Да кто с тобой пойдёт!

— Эй, Серый! — прокричал кто-то на углу пакгауза. — Серый! Давай сюда!

— Если зайдут, нам писец, — сказала Стрекоза, глядя Ведру в глаза.

Ведро молча смотрел на неё. Потом опустил автомат.

— Не уходи, Стрекоза, — попросил он. — Соберём пацанов, вместе уйдём.

И тут до Пастыря дошло: Ведро неровно дышал к девчонке!

— Типа, новым Ханом решил стать? — усмехнулась она.

И, повернувшись, бросила Пастырю:

— Пошли, дя Петь.

Потянула его за руку за контейнеры, выстроившиеся тоннелем.

Потом оглянулась на Ведро.

— Идёшь с нами?

— Куда? — неуверенно произнёс тот.

— Отсюда.

— Нет, — покачал головой Ведро. — Что ж я, малых брошу? Я не гоблин и не ссыкло.

— Ну-ну, — бросила она.

А вот ты — гоблин и ссыкло! — шепнуло Пастырю второе я.

Совсем близко слышались осторожные голоса шпаны.

— Серый, ты? — крикнул кто-то

Ведро быстро повернулся, пошёл в ту сторону.

— Это я! — крикнул он.

Пастырь потянул автомат, но Стрекоза схватила за руку, потащила за собой.

— Что, пацаны, нашли кого-нибудь? — продолжал Ведро.

— Ведро, ты, что ли? — отозвались со стороны.

— Ага. Я тут проверил. Пусто. Где-то этот козёл затаился. Надо в цехах смотреть, ребя.

Наверняка он там.

— За «козла» ответишь, — покачал головой Пастырь, улыбнулся, поморщился.

— А мне ты больше слона напоминаешь, дя Петь, — хохотнула Стрекоза. — Ухо у тебя...

— Тебе смешно... — буркнул он, хромя между контейнерами к проходу в восточную половину пакгауза, где стояли на приколе в боксе два «Зила», а за ними, в конце, видна была дверь.

24. Псы

Они отошли от вокзала уже метров на сто, а трескотня автоматов на платформах всё не прекращалась. Стрекоза поминутно оглядывалась, боясь, наверное, что их догонят, и нетерпеливыми взглядами поторапливала Пастыря.

А тот, выйдя из горячки боя, ощущал теперь каждую заработанную болячку и думал только о том, как бы дотащить до заветного чердака на Вокзальной, рухнуть на мягкую пыль и опилки, положить голову на родной рюкзак и уснуть.

Притихший в уже слабеющем тумане стеклозавод скалился ни них зубьями разбитых стёкол, дышал зыбким холодом из распахнутых дверей цехов, грозился придавить серыми стенами. Стрекоза, идущая впереди, опасно косилась на окна, умоляюще оборачивалась к Пастырю: «Ну быстрее, а?! Давай поскорей пройдем это жуткое место!»

У выхода с территории завода Пастырь не выдержал — присел на высокий бордюр, морщась от боли, уныло примостив на бетоне одну ягодицу.

— Плохо, дя Петь? — участливо поморщилась Стрекоза.

— Да не, — пропыхтел варнак. — Нормально всё.

— А ты... Хана... как убил? — нерешительно спросила она.

— Нормально, — поморщился он. — А он Перевалова подрезал. Доктора.

— А-а... — кивнула. И ничего в её голосе Пастырь не уловил, никаких эмоций.

Эх, лекарь, лекарь... И надо оно тебе всё было?

— Искать будут, как думаешь? — спросил, прищурясь на встающие неподалёку старые замызганные трёхэтажки.

Девочка пожала плечами.

— Могут, — ответила задумчиво, поглядела в сторону вокзала. — Меченый — он такой. Упёртый. Ну, без Хана, может... и не такой уже. Его тоже надо было, — она многозначительно провела большим пальцем ладони по горлу.

Экая ты какая... А ведь он твой, можно сказать, боевой товарищ. Не слишком ли ты быстро переоцениваешь и переосмысливаешь, девонька? И прямо так вот резко — с плюса на минус...

Впрочем, вы, нынешняя молодёжь, легки на подъём. А тут ещё... как это... механизмы приспособления работают на полную.

Не простая ты девочка, Стрекоза, ох не простая!

Вот, значит, какие Вадьке нравились... Вот такая как ты, значит, или даже ты сама, могла бы снохой мне стать, если бы...

— Ну что, идём? — поторопила она, вихрем врываясь в мысли, которые падали в голову редкими тягучими каплями, убаюкивая.

Пастырь кивнул, потряс головой, с трудом поднялся. Лучше бы и не садился, правда. Поостыл, и все болячки выли теперь на разные голоса и противились каждому движению. Гудела голова. Хорошо хоть, этот шарик дурацкий, в ухе, оставил в покое.

— Я тебя в Дубасовку отведу, — говорил он, пока они петляли тесными переулками посреди жмущихся к заводу трёхэтажных дворов. — Деревня на отшибе стоит, так что есть, Оленька, у твоих родителей все шансы выжить.

— Не-а, нету, — небрежно бросила она. — Если от краснухи не умерли, так поубивали друг друга наконец.

Эвона как...

— Тётка — та, может, и живая, — продолжала Стрекоза. — Я последнее время у неё жила. А эти алкаши... Не надо меня никуда вести. Я с тобой буду.

— Где? — хмыкнул он.

— Да везде, — быстро ответила она. — Хоть в Караганде.

Пожрать бы... Ох, скорей бы на чердак!

— Неправильно это, Стре... Оль, — покачал головой Пастырь. — Я так не могу. Мой долг — доставить тебя по месту жительства, а там... по обстоятельствам уже...

— Мне ты ничего не должен, — оборвала она. — И вообще никому. Ничего.

— Нет, — затряс он головой. — Мала ты ещё. Не понимаешь.

— Мала! — обиженно повторила она и зашагала вперёд — быстрее, изредка только оглядываясь, чтобы посмотреть, не сильно ли отстал Пастырь.

Они вышли на Карбышева. Сторонясь домов, добрались до Грибоедова и, сделав вынужденную петлю вокруг базы потребсоюза, вступили на Садовую — местный Михайловский «арбат».

Улочка эта, по-старинному мощёная, шла длинным изгибом до самой Вокзальной. Когда-то, во времена канувшей в лету прошлой жизни, была она всегда людна, заставлена киосками, усеяна магазинами и забегаловками, провинциально-живописна и не по-провинциальному легкомысленно-шаловлива. Здесь Пастырь познакомился с Ленкой. Сюда, в небольшой парк с каруселями, приводил маленького Вадьку. Здесь...

— Слышь, отче, ты бы телепал отсюда на***, — сказал тот пентюх, когда Пастырь (нет, тогда ещё — Пётр Сергеевич Шеин) обратился к нему с увещанием, дескать, негоже, сын мой, так с беременной женщиной. Опять же чадо, дескать, в утробе её тоже всё чувствует и переживает...

И правильно, в общем-то ответил пентюх: ну какое тебе дело, Пётр Сергеевич Шеин, до чужих взаимоотношений и плодов любви плотской?

Но девка была на сносях. А у Пастыря — после трудной Ленкиной беременности, с всеми прелестями токсикоза и сохранения в безалаберном Михайловском роддоме, с риском потерять будущего Вадьку, с тяжёлыми и преждевременными родами — на всю жизнь сложилось особое отношение к округлым женским животам. Отношение трепетное, почтительное и жалостливое. Поэтому, когда этот урод, грязно ругаясь, схватил девку за руку и рванул к машине так, что она едва на ногах удержалась, проходивший мимо Пастырь, враз похолодев, невольно подхватил её под другую руку. Если бы не подхватил, пентюх так не разъярился бы, наверное. Ответил бы что-нибудь или даже смолчал бы (хотя, это вряд ли), и всё. А так он сразу в раж вошёл; Пастырь понял это по его сузившимся в холодные бритвенные лезвия глазам, по тому, с какой силой его пальцы стиснули девичью руку, как захрипел всплеском глухой ярости голос.

— Да я-то потелепаю, сынок, — кивнул Пастырь, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. — Но ведь и тебе ничто не мешает за языком следить. И за ручонками тоже. А то жалко девушку.

Юнец был не шибко крепкий, но безбашенный и злой. Он толкнул девчонку к стоящей рядом машине, схватил Пастыря за грудки, потянул.

Пастырь его не бил. Просто взял за морду лица и отодвинул слегка, чтобы не цеплялся и рубаху не мял. Погорячился, да.

Пятка юнца зацепилась за крышку колодца и он загремел на мостовую, приложился

затылком. Завизжала девка. Остановились любопытные. Кто-то бросил в Пастыря пивной бутылкой, да промазал — попал в витрину за его спиной

А этот пентюх сел, потряс головой, пощупал ушибленный череп и достал телефон.

Менты приехали небывало быстро, что — потом, позже — удивительным уже не было. Потому что юнец оказался прокурорским племянником, а девка — вполне себе законной его женой и стервой, которая на суде показала, что Пастырь оскорблял и угрожал ей, а мужа её нещадно избил, после чего принялся колошматить витрину. А может, и не стервой она была, а просто жизнь у неё такая случилась.

В общем, Пастырь ещё легко отделался за не причинённые тяжкие телесные и хулиганство...

На Вокзальную вышли с опаской и оглядкой, потому что до вокзала было рукой подать. Аиста, как сразу отметил Пастырь, на крыше не было. Выстрелы в той стороне тоже, вроде, стихли. Поуспокоилась, видать, шпана, остыла. Сейчас смотрят, что натворили, спорят... Разговоров им теперь на год вперёд хватит. И у каждого будет своя геройская история. А все трупы сложат, ясное дело, на его, Пастыреву, шею. И ведь так и будут на полном серьёзе думать, что это он их дружков поубивал. И Ведро будет так считать. Хотя, парень, вроде, трезвый и понимающий... Но ведь трупы-то — вот они. И будет жалеть хлопец, что отпустил Пастыря, что не положил его там, в пакгаузе, обрета себе вечную славу и почёт среди этой дикой шпаны... Оставив при себе Стрекозу.

— Дядя Петя! — Стрекоза шла в двух шагах сзади, а теперь, взвизгнув, метнулась к Пастырю, вцепилась в его руку.

Он обернулся резко, беря наизготовку автомат, думая что догнали их пионеры.

Из переулка, из-за магазина «Мода» выходила, рассыпаясь по тротуару, свора собак. Кудлатый чёрный вожак вышел на середину и стоял теперь, дремуче поглядывая на людей, и тянул носом воздух, впитывая запахи. От Пастыря наверняка свежо и сладко пахло кровью. Семь-восемь зверюг разного вида, размера и степени исхудалости разошлись веером и замерли в линию с вожаком, принюхиваясь, приглядываясь, прицениваясь.

Ах ты ж, мать вашу, как вы не вовремя! — подумал Пастырь, мягко отводя затвор «калаша». И много-то вас как! Не перебежь — всё равно доберутся, если не заботятся, конечно, автомата.

— Оля, — тихо сказал он, не сводя глаз со стаи, — ты иди в ближний подъезд и закройся там. Только медленно иди.

— Я боюсь, — прошептала она. — Я боюсь собак. Я побегу.

— Нет, Оленька, бежать нельзя. Спокойно дойди и закройся. Ты не бойся, детка, у нас же автомат. Я им не дам до тебя добраться. Угу?

— Да...

— Когда за угол зайдёшь, чтобы не видели, тогда можешь бежать со всех ног.

— Ага.

Она постояла ещё, не в силах отцепиться от его руки, потом разжала пальцы и медленно, не глядя на собак, вся окаменевшая и прямая от страха, двинулась по тротуару к ближайшему углу.

Вожак насторожился, провожая девочку взглядом. Он, похоже, не мог принять решение: рвануть ли за уходящей добычей или сосредоточиться на оставшемся человеке — большом и аппетитно пахнущем кровью. Поскуливал, в нетерпении перебирая лапами, кто-то из молодых оболтусов. Но вожак не торопился, он давно понял: с людьми лучше семь раз

отмерять, прежде чем обнажить клыки. И та шпука у человека в руках — она навевала смутные опасения, очень уж напоминала она ружьё, со страшной и необъяснимой силой которого вожак был знаком. Бывал он с человеком на охоте, бывал.

— Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? — бормотал Пастырь, медленно поднимая ствол к плечу. — Хан тебя зовут. Стопудово. Ведь ты Хан, а, черномордый?

Вожак зарычал. Стая поднялась, напряглась и ждала только сигнала к атаке.

Хотелось обернуться и посмотреть, как там Стрекоза, скрылась ли уже за углом. Но оборачиваться было нельзя. Каждая потерянная секунда сейчас стоила целой жизни. Потому что псов много. Пробежать им надо всего-то десяток метров. Не успеет Пастырь положить их всех, никак не успеет. Двух-трёх наверняка, а потом — как карта ляжет.

Когда стая зашевелилась, когда глухо зарычал чёрный, Пастырь понял, что ждать больше нечего. Не уйдут они. А поняв, быстро выловил вожака в прицел и нажал на спуск.

Псы вздрогнули, присели, засуетились, поджимая хвосты. Один, в стороне от чёрного, с визгом повалился — видать, рикошетом его цапнуло. Попытался подняться и не смог, а из перебитой лапы потекла на камни кровушка.

Пастырь, не останавливаясь, провёл по стае короткой очередью. И ещё одной, целя в вожака. Другая псина дёрнулась, отпрыгнула, повалилась на камни, засучила лапами, изгибаясь. А вожаку было хоть бы хны, как заговорённый, зараза!

Стая заметалась, занервничала. Псам стало страшно. Они ждали решения вожака, а тот всё никак не мог его принять. Наконец, он повернулся и неторопливо потрусил обратно в переулок.

Пастырь покривился, тщательно уместил в прицеле чёрную спину вожака и дал очередь.

Пули сыпанули рядом с «Ханом», брызнули в луже чуть впереди. Поджимая хвосты, стая рванула бегом. Кое-как поковылял за ними тот, с перебитой лапой. А вожак лишь оглянулся на человека и чуть-чуть прибавил скорости.

А Пастырю почему-то очень важно стало убить эту псину. И он снова нажал на спуск. Автомат дёрнулся единственным выстрелом и стыдливо затих. Всё, пусто.

— Ну точно, заговорённый, сучёныш! — проворчал пастырь, качая головой и отстёгивая пустой магазин.

25. Братцы Кролики

— Здорово, мужик! — окликнули сзади. — Охотишься?

Он обернулся, торопливо пристёгивая рожок.

— Тише, тише! — осадили его.

Два бородатых, как фидели кастро, и худых мужика вальяжно привалились к углу магазина «Наташа», в пятнадцати метрах дальше. Два автоматных ствола сыто жмурились на варнака. Видать, бродили где-то поблизости мужички и пришли на выстрелы.

Ношенная-переносная изорванная хаки, берцы, «калаши» наготове, сидоры за спинами. А из-под курток выглядывают броники. Лёгкие, но всё равно — серьёзно мужики по жизни идут. Похожи друг на друга — ну не как две капли, но очень похожи, — братья, видать.

Пастырь одним медленным движением переправил автомат за спину.

Мужики неспешно приблизились, хозяйственно поигрывая улыбочками превосходства. Не местные, однако, сразу видно.

— Это что за городище, дружище? — спросил один.

А то ты, дружище, не знаешь... Типа, ни одного указателя не видел? Ну если только со стороны совхоза вы пришли или через сады...

Второй неспешно подошёл, снял с варнакова плеча оружие. Быстро обыскал, извлёк из петли «макара», повывёртывал из карманов магазины.

— Михайловск это, — ответил Пастырь, стремительно соображая, как будет выкручиваться.

Спрашивающий присвистнул.

— Ничего мы так завернули, — бросил он напарнику.

— А я тебе говорил! — огрызнулся тот. — Через Кустово нужно было идти, бя.

— Да ладно... Слышь, охотник, что тут у вас? Живых много?

— Да почти никого, — пожал плечами Пастырь. — А вы издалека, мужики?

— Издалека, — небрежно отозвался второй. — Почти, значит?.. А красных дохрена?

— А я их считал? — пожал плечами варнак. И видя, как сузились глаза бородатого, добавил повежливей: — Так-то их не видать сейчас на улицах. По домам подымают, если есть.

— А кто ж тебе так рожу-то поправил, болезный? Из твоего уха можно холодца наварить на роту бойцов.

— Да были тут лихие ребята, — нахмурился Пастырь, невольно притронувшись к распухшему уху.

«На роту бойцов», говоришь?.. Показательно, показательно... И где же нынче твоя рота?

Только бы Стрекоза не явилась. Стрельба утихла; решит девка выйти посмотреть, чем кончилось...

— Ты с кем тут? — насторожился первый, перехватив, наверное, беспокойный взгляд варнака.

— Да ни с кем, — пожал плечами Пастырь. — Один.

— Ну всё, вроде, — кивнул второй, закончив выворачивать варнаковы карманы.

— А чего тут ошиваешься-то? — спросил первый, поведя стволом.

Зубы заговаривает, козёл, — с тоской подумал Пастырь. — Сейчас начну отвечать, и — пальнёт.

— Чего молчишь, болезный? — улыбнулся мужик.

А может, не пальнёт? Какой им смысл убивать просто так, боезапас изводить. Пастырь для них не опасен сейчас всё равно.

— Боюсь, — отозвался он, лихорадочно соображая, как выходить из ситуации. — Орда рядом.

— Какая орда? — обеспокоенно произнёс второй, озираясь.

— Мужиков не меньше дюжины. Звери. Стволы, гранаты... Кое-как от них ушёл, а тут — собачки.

Братья переглянулись.

И в этот момент со стороны Чкалова высыпали гурьбой пионеры, человек восемьдесят. Явились, видать, на пальбу. Впереди скалился Меченый. Мелькнули знакомые лица Куцего и Тохы.

— Ни х** себе! — крикнул мужик, повернувшись на шум.

Только что и успел. Пионеры лупанули сразу со всех стволов, не стали ни фамилию спрашивать, ни пароль-отзыв. Пули ударили в мужика стаей, слетелись на него, как вороны — искилевали, изорвали в хлам куртку, своротили нос, вскрыли горло.

Пастырь прыгнул в сторону повалился на тротуар, кувыркнулся и покатился по до ближайшего крыльца, ожидая, что вот сейчас ударят и по нему. Краем глаза увидел как присел второй и дал одну короткую очередь, вторую. Упал кто-то из пацанов. Кто-то закричал от боли.

Увидел перекосившееся лицо Меченого, который, кусая губу, торопился заменить магазин, а ничего у него не получалось второпях. Просуетился юнец, попал под следующую строчку мужика, повалился на разбитый асфальт, сворачиваясь калачиком. Мужик воспользовался лёгкой оторопью среди пионеров, рванул бежать по Первомайской. Да только куда убежишь с тридцати метров от пяти стволов, хотя бы и в детских руках... Споткнулся, выгнулся спиной, впитывая в себя свинец, и повалился, ткнулся лицом в лужу.

Пастырь медлить не стал. Прыгнул в разбитую витрину какого-то магазинчика. Перевалился через прилавок и шмыгнул в подсобку. Хорошо, что после разграбления забегаловка была пуста, а все двери или выбиты или распахнуты настежь.

Опрометью пронёсся по тесному коридорчику и выскочил во двор. Надежда была на то, что никто за ним сейчас не побежит. Остудятся пацаны смертью Меченого, столпятся сейчас возле него — нового своего командира. Будут совещаться, что за мужики явились, откуда взялись и нет ли их ещё поблизости; рассматривать и обыскивать трупы. Уж точно не до Пастыря им будет.

Оружия никакого не стало, это очень плохо. Без оружия в этом как городе — как голому в ресторане.

Плохо и то, что пацанва полезла из своего логова в город. Это Меченого работа... Меченого больше нет. Что теперь будет делать шпана?

Уже подкрадываясь к углу, чтобы тихонько выглянуть, увидел, как вышла из своего подъезда Стрекоза. Замахал ей руками, чтобы не высывалась. Она кивнула, шмыгнула обратно.

Выглянув, увидел как пацаны собирают оружие — отстёгивают от автоматов магазины. Эх, хоть бы один оставили, ироды!

Только минут через двадцать, когда пацаны притихшей стайкой удалились по Вокзальной в сторону стеклозавода и скрылись из виду, Пастырь позвал Стрекозу.

Присел над трупом мужика. Карманы были вывернуты, валялись возле тела пустая пачка «Примы», рассыпанная пачка никому давно не нужных тысячных и пятидесятирублевых купюр, ментовское удостоверение. «Крол Викентий Александрович» — прочитал Пастырь. Старший прапорщик отдельной роты патрульно-постовой службы милиции.

Насобирали ты, братец Кролик, денежек!.. Сотни полторы-две тысяч в пачке, не меньше. На кой? Ну да, понятно, ты же не знал, что Хан отменил старый мир. Теперь, вот, и тебя самого отменили.

Подобрал автомат, дошёл до второго трупа. История та же: деньги, удостоверение на имя Крола Станислава Александровича. И ни одного патрона не оставили пионеры.

— Дядя Петя! — позвала Стрекоза.

Присел над телом одного из пацанов, махала руками: быстрее! Пастырь в несколько прыжков оказался рядом, склонился над пионером. Неизвестный ему пацан, лет двенадцати-тринадцати, ещё дышал. Бросили дружки своего однополчанина полуживым и ушли. Во как...

Рядом подбитой птицей, раскинув руки-крылья, лежал Куцый. В стороне скрючился, свернулся калачом Меченый.

Пацан был без сознания, дышал тяжело и с хрипом, пуская кровавые пузыри. На грязной рубашке, на животе и груди, расплылось по здоровому пятну крови.

Пастырь скрипнул зубами, покачал головой.

— Ничего не сделаешь, Оля, — сказал. — Умирает он.

— Да? — неожиданно легко произнесла она. И смотрела на пацана как будто с любопытством даже. То ли умирающих не видела сроду...

— Пойдём, — кивнул он ей, поднимаясь.

— А его что ж, так бросим? — подняла она глаза.

— Ему ничем не поможешь, — пожал плечами варнак.

— А добить?

Пастырь вздрогнул, челюсть отвисла, а во рту стало сухо.

Это как же такое возможно-то, а?! Ты же девочка... Ну, понятно, не сложились у тебя жизнь, посмотрелась ты, видать, всякого. В этой Хановой когорте повращалась... Но ты же девочка... Ты же ребёнок ещё!

— Нечем, — буркнул он, отворачиваясь, пряча глаза. — Не душишь же мне его...

— Что, так и оставим? — настаивала она.

— Он уже не мучается, — отозвался Пастырь. — Без сознания... Минут пять полежит ещё и отойдёт... Идём! Собаки могут вернуться.

Услышав про собак, девчонка сразу подскочила, испуганно оглянулась по сторонам, вцепилась в Пастыреву руку.

Псы-то и правда могут попробовать ещё раз. И тут уже, без оружия, примут Пастырь со Стрекозой жестокий и болезненный конец своих жизней.

Минут за пятнадцать они дошли до заветной пятиэтажки. Пастырь оставил Стрекозу на первом этаже, поднялся наверх один. Залез на чердак, осмотрелся и только потом позвал девчонку.

Пока она поднималась, открыл последнюю банку тушёнки. Эх, воды бы — кипяточку сделать под лапшичку!

Стрекоза взобралась к нему. Увидев открытую банку в руке Пастыря, учуяв позабытый запах, радостно взвизгнула, запрыгала, захлопала в ладоши. Дурёха, — улыбнулся Пастырь.

Съели — одной ложкой на двоих — мясо, похрупали сухой лапшой, которую он предварительно истолок чуть ли не в пыль.

Потом Пастырь достал водку, открыл и влил в себя залпом полбутылки. Оставшейся половиной долго обрабатывал все свои раны. Смущаясь насмешливой улыбкой Стрекозы, отойдя подальше, кое-как промыл болячку на заднице. Едва успел до того, как выпитая водка сдвинула крышу, выключила ноги, повалила в пыль.

Падая головой на одну половину рюкзака, хлопнул рукой рядом; еле ворочая языком, велел:

— Спать, Ольк. Отдыхать.

И всё. Провалился в тошнотворную колышущуюся бездну пьяного сна.

26. Хаос

Снилась в пьяном угаре всякая дрянь. Пастырь дрался, убегал, убивал... Потом Снился Вадька, живой. И тогда варнак, где-то поверх сна понимающий, что на самом деле Вадьки нет и никогда уже больше не будет, ревел ревмя...

Потом наступил недолгий мрак без сна, в котором он почувал вдруг, как тихонько зашевелилась лежащая рядом Стрекоза. Не спится девке. Ну да, она-то что... Она вообще, кажется, легко всё восприняла и перенесла. Стойкая девочка. И... холодная она какая-то. Легко через пацанов переступила, через дружков своих. При случае и через него легко...

Услышалось, как девчонка встала, тихонько отошла. Пи-пи захотела, наверное...

Скрип... Скрип... Туда-сюда, туда-сюда, скрип-скрип... Что это?

Дошло! Это топорик, который Пастырь давеча вбил в стропила, открыв тушёнку. Сейчас она аккуратно, раскачивая, пыталась вытащить глубоко вбитое лезвие из дерева. Зачем он ей?..

А ты не понимаешь?..

Да ладно тебе!..

На какой-то миг захотелось вскочить, но пьяная истома распластала, не давала и пальцем шевельнуть. Да нет, ничего плохого не будет.

Стрекоза выдернула, наконец, топорик. Подошла, опустилась на колени рядом. Пастырь услышал её дыхание — приглушённо-взволнованное, осторожное. Отчётливо до щекотки почувал шей, куда придётся удар.

— Что, Оль? — спросил он.

Она замерла. Не стало слышно дыхания.

— Убить хочешь? За что?

Тишина. Ну, хорошо хоть, что не рубанула сразу, в панике-то. Не сможет ведь убить — только поранит сдуру, вскрыет шею. И будет тогда Пастырь отходить долго и мучительно, истекая кровью и задыхаясь.

— За что, Оль? — повторил он.

— За Хана, — прошептала она тихо.

— Ух ты... Это что ж так?

— Мы с ним... В общем... дружили мы.

— Это как же? — опешил Пастырь. — А Вадька мой?

— Да что твой Вадька! — усмехнулась она. — Кому он нужен был, Чекурёнок твой беспонтовый...

Ну, ты это зря, девонька!

Пастырь одним резким движением подбросил тело вверх, перевернулся на левый бок, лицом к Стрекозе, вытянул руку в надежде перехватить топор.

Да только показалось это ему. На самом-то деле, едва-едва шевелясь, перевалился с боку на бок, наверное, как раненый медведь.

Что ж ты так напился, варнак?

Она, не дожидаясь, махнула топором куда-то в переносицу.

Пастырь вздрогнул и проснулся.

Стрекоза тихонько сопела за спиной, уткнувшись носом ему в шею, щекотала своим дыханием.

Он осторожно поднялся, взял бинокль и, пьяно пошатываясь, отошёл к слуховому окну, открыл.

Вечерело. Мелко и густо накрапывал дождь. Аиста на вокзальной крыше по-прежнему было не видно. И у входа в вокзал никого, как нет и костра. И на мосту часового не заметно. Сдулись пацаны, утратили всякий порядок вместе с командирами. Остался там из крутых только Ведро, если жив. Но он, похоже, слишком мягок, чтобы удержать паникующую пацанву в узде. Станут ли его слушаться?

Где-то в стороне Первомайской тресканула вдруг автоматная очередь. Пастырь повернул бинокль в ту сторону. Но за домами, в наползающей темноте, ничего не было видно. А там, вслед за первой очередью, затрещали ещё и ещё. Захлопали одиночные пистолетные выстрелы.

Водя биноклем по окрестностям, Пастырь вдруг ошалел от увиденного: по Гамзатова промчался КамАЗ! Вырулив к Краснопресненской, он кое-как вписался в поворот и — половина по дороге, половина по тротуару, выпучив очумелые фары, чадя чёрно-синим дымом — рванул к площади. В кузове трепались четверо настороженных мужиков при автоматах. Ещё один сидел у борта, схватившись за голову, болтаясь как гэ в проруби. В углу кузова, собравшись неудобной половой тряпкой, валялся ещё один и бился о металл головой, которой, похоже, было уже не больно. Едва КамАЗ вылетел из-за поворота, в след ему, наверное, долетела брошенная граната — рвануло, посыпались из окон тесной улочки стёкла. Мужики в кузове припали к днищу, зорали что-то перекошенными ртами.

— Хм... — произнёс Пастырь, до слезы в глазу всматриваясь в происходящее. — Это кто же у нас в гостях?

Это не братцев ли кроликов эскадрон летучий? Кто бы ни были эти весёлые ребята, а встречаться с ними не с руки. И чем скорей Пастырь выведет Стрекозу из города, тем лучше.

Пионеров жалко. Не позавидуешь пацанам, если эта шобла доберётся до вокзала... Или уже добралась? От кого они драпают-то?..

— Что там? — сзади завозилась Стрекоза, приподнялась, прислушиваясь к стрельбе, которая плеснула теперь в другой стороне — ближе к садам. Ох как всё нехорошо-то...

— Ничего хорошего, Оль, — отозвался Пастырь.

Мучила жажда. Губы покрылись липкой гадостью, усохли, а язык болтался во рту, как тёрка. Зря он так с водочкой, зря. Хоть спускайся теперь на улицу, к луже.

Она подошла, встала рядом, прислушиваясь, вглядываясь в наползающий с запада сумрак.

— Нехорошие ребята пожаловали в Михайловск, — сказал он. — Поэтому, Оленька, завтра я тебе раннюю побудку объявлю, очень раннюю. Хорошо бы прямо сегодня, в ночь, уйти, но фонарь мой, которым я тебе в голову запустил, на вокзале остался.

Стрекоза вспомнила, видать, его акробатический этюд — ухмыльнулась.

— В караулке лежит, — кивнула. — Я его потом нашла, подобрала.

— Угу. Ты вот что, девонька, ты ложись давай и чтобы до утра ни рукой, ни ногой не дрыгнула. Поесть у нас всё равно нечего, а кто спит — обедает. Лапшицу оставим на утро пожевать.

— Я уже не хочу спать, — покривилась она.

— А я не спрашиваю, хочешь ты или нет. Я установку даю. Спать до утра. И всё. А я пойду к луже спущусь, пить хочу до невозможности.

Выдернув из балки топорик, он прихватил коробку из-под лапши и, кивнув Стрекозе,

спустился в подъезд.

Если бы не посеял, дурень, свою фляжку, не пришлось бы сейчас красться на неприветливую улицу по притихшему подъезду, в котором каждый скрип, шаг и вздох отдаются в затылке выстрелом.

Постоял у выхода, прислушиваясь. Пальбы было не слышать больше. Через распахнутую дверь тянуло в подъезд вечерней дождевой свежестью. По-осеннему стремительно темнело. Пастырь постоял несколько минут, вдыхая этот вкуснейший воздух, прислушиваясь. Потом вышел наружу. Постоял, озираясь, выискивая в темноте, где блеснёт в редком лунном свете зеркало лужи. Высмотрел и поскользился по грязи туда. Упал на колени и сначала выполоскал рот и напился, осторожно втягивая губами воду с поверхности. Потом наполнил коробку из-под лапши. И только тогда поплескал прохладной и пахучей воды в лицо, пофыркал, стараясь не слишком громко. Кое-как утёрся рукавом и уже хотел подняться с колен, когда в голову сзади упёрлось что-то твёрдое и холодное.

— Не дёргайся, мужик, — негромко произнёс голос. Мужской.

— Ладно, не буду, — отозвался Пастырь.

Если этот хлопец из той кодлы братьев-кроликов, то чего он разговаривает так тихо? А, ну да, боится, что Пастырь не один тут. Ну ладно, а почему сам-то один?

— Оружие? — спросил тот, за спиной.

— Нету, — ответил варнак.

— Где остальные?

— Это кто?

— А ну-ка, ложись, — велел голос. — Морду в землю, я сказал! Ноги врозь, руки за голову. И не вздумай оглянуться.

Пастырь аккуратно поставил коробку с водой рядом с лужей, вытянулся на мокрой траве, сложил на затылке руки. Вдохнул.

— Живу я тут, — сказал он. — Вот в этом доме. На чердаке. Не убивайте, хлопцы.

— Да нужен ты, — отозвался неизвестный, быстро и умело охлопывая Пастыря по карманам, проверяя руки, ноги. Выдернул из-за пояса топорик.

— Мясник, что ли?

— Не забирай топорик, брат, — попросил варнак плаксивым голосом. — Хоть от собак отмахнуться.

А сам соображал, как извернуться. В голову настырно лезла картина: мужик взвесив в руке топорик, резко хлопает им Пастыря в затылок. Трещит череп, раскалываясь, приоткрываясь как орех, как раковина устрицы, открывая небу сокровенное — розоватую белизну мозгов.

Фу, бя... Надо что-то делать... А что сделаешь, лёжа под стволом?

А тот, похоже, точно так же не знал, что делать дальше. Пораздумав, отбросил топорик шагов на несколько. Что ж, если своих не зовёт, значит, он здесь один. А может и нет у него тут своих?

— Ты с Кролами пришёл? — спросил Пастырь, чтобы не лежать бревном, чтобы хоть что-нибудь замутить.

— Ага, — усмехнулся тот. — И кролов тебе принёс и курицу-гриль, и картошечки.

Ясно, значит не из тех парень. Значит — из этих.

— Может, я встану? — поинтересовался варнак. — Мокро лежать-то.

— Ну встань, — отозвался незнакомец, делая пару шагов назад, к подъезду.

Варнак неторопливо, чтобы не нервировать бандюка, поднялся.

Перед ним, целясь в грудь «макаром» стоял парень лет двадцати. Худой, вихрастый, заросший редкой слабой бородкой. В поношенной и грязной брезентовой куртке, в ещё более грязных штанах. Что-то совсем не похож на крутого бандюка-то...

— Здорово, — сказал варнак.

— Угу, — отозвался тот.

— Так ты не из тех?

— Я из этих.

— Так я и думал, — кивнул Пастырь. — Чего делать будем?

Парень не отвечая сделал ещё пару шагов назад. Стрелять собрался, что ли?..

— Да ничего пока, — возразил он мыслям варнака. — Откуда?

— Местный я. Михайловский.

— Что-то мне твоя фотография незнакома.

— Так и мне твоя, — усмехнулся Пастырь.

— И давно ты здесь ош...

Парень не договорил. Дёрнулся вдруг и повалился головой вперёд. Мелькнул позади него невысокий смутный силуэт.

Пастырь не стал раздумывать и рассуждать. Он в два прыжка оказался возле тела, рванул из ослабевшей руки пистолет.

— Кто это, дя Петь? — спросил из темноты Олькин голос.

— Я тебе сказал спать! — зашипел на неё варнак, приседая над телом, быстро обыскивая и ничего не находя. — А ты шпындаешь.

— А чего тебя долго не было, — обиженно произнесла девчонка. — Ему жизнь спасают, а он ещё и недоволен.

— Спасибо, — буркнул Пастырь.

Лежащий застонал, приподнял голову, затряс ею. Кое-как сел, ощупывая затылок.

«Даже не взвёл, балбес!» — подумал Пастырь, дёргая затвор «макара». Присел на корточки перед парнем.

— Ты чьих будешь? — спросил, улыбаясь.

Парень, морщась, поглядел на Стрекозу, перевёл взгляд на варнака, на пистолет.

— Магазин пустой, — произнёс он.

Пастырь поднялся, отошёл, проверил.

Действительно — пустой пистолетик. На понт взял паренёк. Ну ладно. С тобой-то хлюпиком, справиться не мудрено, если дёрнешься. Хотя вряд ли ты дёрнешься — Стрекоза, видать, хорошо тебя приложила. Как ещё не убила такой хреновиной. Пастырь поманил Стрекозу поближе, взял у неё из руки толстый металлический прут, подобранный, видать, где-то там же, на чердаке.

— Так ты чьих будешь-то? — повторил он свой вопрос.

— Да пошёл ты, — бросил парень, неуверенно поднимаясь. Нетрудно было представить, каково ему сейчас, как гудит царь-колоколом башка. И, однако, это не повод грубить.

Пастырь сделал шаг вперёд, несильно рубанул парню в поддых. Тот, гыкнув, сложился пополам, упал на колени.

— Я ж тебя сюда не звал, парень, — сказал варнак, словно извиняясь. — Ты сам пришёл. И начал мне в башку пугачом тыкать. Так чего теперь обижаешься?

— Надо было тебя... топором, — пропыхтел паренёк, переводя дыхание.

— После драки кулаками не машут, — покачал головой Пастырь.

— Да вломи ты ему, дя Петь, — вмешалась Стрекоза. — Дай железякой по кумполу, чего он!

Парень бросил на неё удивлённый взгляд.

— Ничего у тебя дочурка, — сказал он уже нормально, отдышавшись. — Пистолет верни.

— Ага, сейчас, — усмехнулся варнак. И Стрекозе: — Иди, Оль, собирай вещички. Место менять будем, а то этот...

Она кивнула, скрылась в подъезде.

— Ты как выживаешь-то, парень? — спросил Пастырь, проводив девчонку взглядом. — Один, что ли?

— Тебе-то чего, — невесело отозвался тот. — Как могу, так и выживаю.

— Михайловский?

— Да. И что?

— Да ничего. Давеча *ты* спрашивал. Теперь, вот, я вопросы задаю. Так ты один?

— Один. Моих убили сегодня.

— Ага... — прищурился Пастырь. — Это каких таких твоих?

— Со мной ещё два мужика были. Из нашей роты.

— Из роты?.. Кролы?

Парень поднял голову, долгим взглядом посмотрел на варнака, поблёскивая в лунном свете глазами.

— Так ты вон про каких Кролов, — произнёс задумчиво. — Знаешь их?

— Нет, — пожал плечами Пастырь. — Не успел познакомиться. Их сегодня пионеры завалили.

— Бля-а! — замотал головой парень. — Мир в жопу валится...

— Да свалился уже, — усмехнулся варнак. — А ты, стало быть, из них? Мент?

— Я из роты охраны. Мы в Сосновке стояли, охраняли лагерь. Там лагерь пион...

— Знаю, — оборвал Пастырь.

— Ну вот, — кивнул парень. — Там потом такой бардак начался!.. Это хорошо, что Кролов завалили. Уроды они. Были.

— А твоих кто порешил?

— А я знаю? Хмыри какие-то бородатые. Их дофига привалило откуда-то. Камаз, мотоцикл. Одни въехали с Южной, другие пёхом со стороны садов пришли. Не знаю, это всё одна шобла или разные. Мы, короче, на садах отсиживались. Там они нас и почикали. Мне повезло, ушёл. А Тимоха с Ведром там остались.

— С Ведром?

— Ну да, а что? Знал его, что ли? Ведерников Колян.

— Нет, — покачал головой варнак. — Погоняло знакомое просто.

— Его гранатой накрыло. Хороший был мужик.

— Сын у него был.

— Был. Он из-за него сюда и пришёл. Сам-то он спасский, а жена бывшая с сыном... Так ты его знал всё таки?

Вышла из подъезда Стрекоза с Пастыревым рюкзаком на плече.

— Тебя как зовут, парень? — спросил варнак.

— Серый. Сергей, в смысле.

— Угу. Ты вот что, Серёга, давай-ка с нами.

— Куда?

Стрекоза подошла, встала рядом, поглядывая то на одного, то на другого.

— Ну, до утра пересидим где-нибудь. А там двинем в Дубасовку. Мне надо вот эту, — кивнул на Стрекозу, — чуду родным доставить. Ну а дальше — посмотрим, по обстоятельствам.

Сергей задумался. Посмотрел на Пастыря, на Стрекозу. Посмотрел в задумчивости на притихший город.

— Не, — покачал головой.

— Серый, ты не прав, — попытался убедить парня варнак. — Нельзя сейчас по-одиночке. Вместе надо держаться. Один не выживешь.

— Как-нибудь, — замотал головой парень.

— Ну ты балбес! Ты чего делать-то будешь в городе? Уйдём в деревню, там как-никак проскребёмся зиму. А весной... Весной жить начать попробуем. Заново.

— У меня мать в Михайловске. Может, живая, — отозвался Сергей. И вдруг — заскулил, заплакал, по-пацаньи, жалобно, размазывая по лицу слёзы и кровь с руки. Потом застонал, замотал головой, разгоняя нахлынувшую, видать, из затылка боль.

— Серёга! — настаивал Пастырь. — Не дури. Если ты мать не нашёл до сих пор, так и не найдёшь уже. Если жива — рано или поздно пересечётесь. Мы ж не насовсем уйдём. Сейчас все из города по деревням пойдут. В городе не выжить зиму.

— Нет, — уже твёрдо ответил парень. — До холодов похожу ещё по городу. А там — видно будет.

— Ну и дурак, — отвернулся Пастырь в сердцах.

— Пистолет-то отдашь? — спросил Сергей, стирая с глаз последние слёзы. — Отдай.

— Извини, Серый, — покачал головой Пастырь. — Времена нынче такие. У меня, вон девчонка. Может патронов надыбаю где...

— Отдай!

— Нет.

Пастырь сунул Ольке железяку («если дёрнется — наотмашь, в лоб»), отошёл к луже, вылебал набранную в коробку воду. Потом порыскал по траве в поисках топора. Нашёл и сунул за пояс. Взял Стрекозу за плечо.

— Ну ладно, Ольк, пойдём вон в ту пятиэтажку. Там до утра перекантуемся.

— Да мне поровну, где вы будете отсиживаться, — усмехнулся Сергей, отгадав незатейливую Пастыреву хитрость. — Отдай «макара», будь человеком.

— Идешь с нами? — последний раз повернулся к нему Пастырь.

— Нет, сказал же.

— Ну бывай тогда, Серёга. Бог даст свидимся ещё.

И подтолкнул Ольку, пошагал вперёд, растворяясь в неверном лунном свете.

Парень проводил их взглядом, сплюнул вслед, выматерился. Потом неловко поднялся, придерживая голову. И скрылся в подъезде, на чердаке которого отсиживались Пастырь со Олькой.

27. Полёт стрекозы

Солнце только-только поднималось, когда они крадучись вышли из города. Вышли той же дорогой, которой Пастырь входил — через разбитую и поблёскивающую в рассвете лужами Репейную. С полей, из роц тянуло осенью. В городе её запах был не так ощутим, а вот тут, едва вышли за пределы этого мёртвого скелета, осень сразу дала о себе знать. За те дни, что Пастырь провёл в Михайловске, заметно похолодало и заждилось, погода окончательно и бесповоротно повернула на скорый ноябрь. А там и зима не за горами...

А Стрекозе всё это было постольку-поскольку. Шла себе, улыбалась своим мыслям, дышала всей грудью и болтала о том о сём. И Пастырю было хорошо и уютно от её ниоёмной болтовни, от её соседства, от того, что не один он теперь. Ненадолго, правда... Хорошо это или плохо, он ещё не решил. С одной стороны, понимал варнак, что девчонка ему не компания, а только обуза. А с другой... С тоской ожидал, что придут они в Дубасовку, и окажется родня Стрекозы живой да здоровой. И тогда снова он останется один.

А ещё мысль о пионерах не давала покоя. Не нравилось ему, *что* и *как* произошло при его участии в эти дни. Неправильно всё было как-то, нехорошо.

Думалось и о том, что делать дальше. В Михайловске его больше ничто не держало, кроме разве родного дома, спящего сейчас посреди агонизирующего города. Но оставаться в Михайловске зимовать — не вариант, нет...

Вообще, оставаться жить — не вариант. Чего теперь ждать от этой жизни, что с неё можно поиметь? Строить новое будущее? С кем? Для кого? Зачем?

— Стрекоза, дя Петь! — восторженно взвизгнула Оляка, тыча пальцем в серебристое насекомое, снявшееся с ковыля и уносящееся пулей в сторону дальнего озера.

Девчонка! Ребёнок. И этот ребёнок вчера холодно и безучастно требовал добить такого же ребёнка...

Стрекоза. Вот для неё и нужно строить это новое будущее. Для неё, для пионеров, забившихся по углам в холодном и тёмном здании вокзала. Для их детей и детей их детей. А как ты хотел, Пастырь?.. Плюнуть на всё, обидеться на этот жестокий мир и сдохнуть в своей мёртвой квартире, оплакивая прошлое — это проще всего.

Стрекоза-то откуда?.. Октябрь уже, уже на холода повернул, а она всё летает...

В город бандюки явились. Вот это — самое худшее из всех зол, которые сейчас можно было дьяволу придумать. Это хорошо ещё, если они проездом. Порыскают по мёртвому городу денёк и свалят. Да конечно, наверняка свалят. Что им делать в тишине этих заразных улиц. Но если эта шобла наткнётся на остатки пионеров...

И Серёгу жалко. Пропадёт парень.

Наверное, он сказал это вслух, потому что Стрекоза приостановилась, повернулась к нему.

— Жалостливый ты сильно, дя Петь, — сказала она. — Нельзя так.

Он тоже остановился, долгим взглядом заглянул ей в глаза. Потом зябко повёл плечами и двинулся дальше. Стрекоза постояла, глядя вслед. Догнала, хлопнула по плечу:

— Да ладно ты, не заморачивайся!

И умчалась вперёд.

Постоянно давящее на плечи чувство опасности, тревога, ежедневный страх и тоска — всё это свалилось с девичьих плеч, и Стрекоза носилась теперь по дороге и лугам, как

вырвавшийся на волю жеребёнок. Летала, как самая настоящая стрекоза.

Пастырь поморщился, присел на дорогу. Стянул с ноги берц. Ботинок давно уже грозился запросить есть. Изначально не по размеру, разношенный до безобразия и постоянно натирающий пятку полупарок ощерился в гнусной ухмылке. Пастырь вытряхнул из носка давно истёртый, искрошившийся листок. Порылся в сидоре, достал библию. Перекрестившись, вырвал из евангелия от Иоанна очередной листок. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён...» Сложил, приладил к пятке. Натянул обратно носок, напялил ботинок. Встал, потопал ногой.

Вот так-то, брат Пастырь. Вот тебе ещё одна печаль... Эх!..

Повернулся и — замер.

Стрекоза притихла шагах в тридцати впереди. Стояла, заведя руки за спину, поджавшись испуганной птицей. А перед ней, шагах в десяти мрачно стоял мужик с ружьём в одной руке.

А второй у него не было.

От сердца отлегло. Разом накатившая на душу щемливая волна — спала. Михай!

— Эй, Михай! — обрадованно крикнул Пастырь, припуская к ним. — Здорово, ром!

Уже когда он подбежал, и метров пять оставалось до Ольки, Михай глянул на него, велел:

— Стой, парен! Остановис и стой, где стоишь.

— Эй, Михай, ты чего? — улыбнулся Пастырь. — Не признал?

— Стой! — нахмурился цыган. — Признал. А то стрелял бы уже. Стой, парен, не встречай.

— Ты чего? — снова неловко улыбнулся Пастырь. Но что-то в цыгановых глазах заставило остановиться.

Он увидел, как подрагивает, будто от холода, стоящая впереди Стрекоза. Как покачивается в Михеевой руке дустволка. Курки взведены. А глаза его черны как ночь от тоскливой ненависти.

— Так помнишь унучку мою? — спросил цыган глухо, с надрывом, продолжая, наверное, начатый разговор.

Стрекоза молчала, опустив глаза, трясась, как в ознобе.

— Помнишь, — кивнул Михай. — И я не забыл, как ты смеялас, когда... когда... рвала её!

Он захлебнулся яростью, хлынувшей, перехватившей горло; задохнулся воспоминанием, которое не потускнеет никогда, будет жечь душу и томить до самой могилы.

Пальнёт сейчас, — подумал Пастырь, осторожно потянув из-за пояса топор, делая несколько шагов вперёд.

— Не надо, парен, — покачал головой цыган. — Не надо. Не хочу тебя убиват.

Чёрт! Это надо же. Чего забыл старый на этой дороге? Судя по сидору за плечами, пошёл, наверное, по деревням, искать поживы. И надо же было на него нарваться! Да, Стрекоза говорила же про цыган, но вроде ни про что такое не упоминала. Чем она-то так обвиноватилась перед Михаем?

— Меня заставили, — выдавила Стрекоза, не поднимая глаз.

— Правда, Михай, — вступил Пастырь. — Ты чего, а? Она ж ребёнок! Ты ж ничего не знаешь. Они же там под этим ходили, под...

— Ша! — стрельнул в него глазами цыган. И Стрекозе: — Это ты ему можешь

расскажат, а мне — не надо. Я там был, видел. Волосы не ты ей жгла? Заставили?! Глаза выкалывала! Тоже заставили?!

На густых ресницах его повисли проступившие слёзы, застлали, затуманили видимость. Михай тряхнул головой — второй руки-то не было, чтобы утереть глаза.

Пастырь понял, что лучшего момента не будет.

— Михай, сзади! — крикнул он, показав пальцем за спину цыгана, отвлекая.

А сам тут же прыгнул вперёд, толкнул Стрекозу в плечо, отшвыривая за обочину, заступая за неё, под ружьё, другой рукой выдёргивая из-за пояса топор.

Грохнула Михаева двустволка. Один ствол. И тут же, следом — второй. Вжикнуло возле самого Пастырева лица. Не поверил цыган, не повёлся на простую уловку, хотя и вздрогнул от неожиданности и даже шаг в сторону сделал.

Стрекоза охнула от тяжёлого мужицкого толчка, полетела в траву.

Пастырь присел невольно, под звуками выстрелов. Рука замахнулась бросить в цыгана топор, но сообразил, что у того стволы уже пустые — осадил руку.

Поднялся, поигрывая натянутой улыбочкой.

— Всё? Отстрелялся, ром?

А тот вдруг выронил ружьё, повалился на колени, склонил голову и принялся шептать что-то, крестясь.

— Стрекоза, — позвал Пастырь оборачиваясь, — ты как там, не ушиблась?

Девчонка не ответила. Лежала в траве, разметав руки и неловко подвернув ногу, уставясь за горизонт пустым неподвижным взглядом. Из под ветровки её выглядывал подорожник — почему-то не зелёного, а красного, алого цвета.

— Олька!..

Большая стрекоза снялась с головки чертополоха, метнулась под ветерок, мелькнув на поднявшемся уже солнце серебряной пулей. Пошла выше, выше, посверкивая крылышками, превращаясь в точку, исчезая.

— Стрекоза!..

Изо рта её вытекала на придавленную траву тонкая красная струйка, рисовала странноватый цветок на листе лопуха.

— Михай? — Пастырь повернулся к цыгану. — Как же так, Михай?! Ты чего наделал, а, тварь черножопая?!

Тот не ответил, продолжал молиться.

Пастырь подошёл к девчоночьему телу. Присел, бросив топор. Заглянул в безжизненное лицо. Потом повалился рядом, уставился в небо.

— Сучья жизнь, а! — простонал он. — Ну сучья же ты жизнь!

28. Закат

— Иди, ест будем, — позвал цыган от костра.

Пастырь поднялся от свежей могилы, возле которой просидел весь день, подхватил лопату, пошёл к вагончику. Поставил инструмент у крыльца, отряхнул штаны, посмотрел тяжёлым взглядом на Михая, снимающего с огня чайник.

Подошёл, опустился на ящик напротив цыгана, не сводя с его лица взгляда.

— Ты прошай меня, — сказал тот, опуская взгляд на огонь.

Пастырь покачал головой, пожал плечами, вздохнул.

Прошай... Кто тут и в чём виноват? Нет тут ни правых, ни виноватых. Теперь Пастырь это точно знал.

— Как ты жить с этим будешь? — спросил.

— Я не живу давно, — ответил цыган. — Умер я.

— Это ты хорошо придумал, — кивнул Пастырь. — Удобно.

— Что скажат этим хочешь? — покосился Михай.

— Да ничего, — отмахнулся варнак. — Живи как знаешь.

Пока хлебали скудное картофельное варево, не произнесли ни слова. Не о чем было говорить, да и не хотелось.

Тянул по-над головами северный ветер — степенно-неторопливый и зябкий, — обещал скорый снег. Вдалеке, за холмами и рощами притаился, как раненый зверь, Михайловск — лежал и ждал нового рассвета, который, может быть, оборвёт агонию, подарит долгожданную окончательную смерть. Или жизнь.

— Говорил тебе, не ходи туда, — произнёс Михай. — Говорил же...

— Я вот про пацанов думаю... — отозвался Пастырь. — Как они там?

— Ты — о них?!

— О них.

— О дэвлэчко!.. [О боженька!]

Михай поднялся, отошёл к вагончику. Вернулся с охапкой хвороста, подбросил в огонь.

— Идти нужно в город, — сказал Пастырь. — Погибнут же пацаны. Кто в городе живой остался, те их ненавидят. Бандиты подтянулись... Идти надо.

— Я не пойду с тобой, — покачал головой цыган.

— А я и не зову. Зачем ты мне там? Чтобы остальных поубивал?

Михай опустил голову, скрипнул зубами.

Скрипи, не скрипи, цыган, а будешь ты теперь до конца дней своих помнить эту девочку — глаза её детские испуганные, как дрожала она от страха, как лежала в траве, твоей рукой убитая. Мсть — это вспышка, секунда. А жизнь — долгая. И сейчас-то нет тебе никакого удовлетворения от мести, а только вина. А потом и вообще свету не взвидишь.

И никуда ты не денешься, Михай, пойдешь завтра со мной, поплетёшься вину свою искупать. И если всё сродётся, будешь этим пацанам как отец родной. Будешь биться за них и единственной своей рукой глотки рвать бандюкам...

Хотя... Чёрт тебя знает... Попадутся тебе там знакомцы, которые... и захолонёт опять сердце цыганское... Ох-ох-ох... Непросто всё. Сам-то ты, Пастырь, что делал бы на его месте? Не кинулся бы ты рвать эту шпану?..

И что это, Пётр Сергеевич... ты уже решил, что ли? Неужели пойдёшь завтра в город?

А куда ещё идти-то? Да и надо пацанов вывести из этого гадюшника. Аккуратно вывести, чтобы бандюки эти не прочухали. Ведро один не справится. И Хан бы не справился, а этот и подавно не сможет. И полягут тогда все как один пионеры.

— И ружжо не дам, извиняй, — сказал цыган.

Пастырь усмехнулся.

— Да я, что ли, прошу у тебя твою берданку? Если сильно понадобится, так и просить не стану — возьму и вся недолга.

Михай покосился, поворошил огонь, похрустел хворостом, подбросил.

— Бери, — пробормотал пожав плечами. — У меня кнут ест.

— Кнут! — хохотнул варнак. — Это здорово, Михай!

Цыган недовольно глянул на варнака, поднялся. Сходил в вагончик и вернулся со старым длинным кнутом, с витой рукоятью, отполированной временем и цыганскими руками до тёмного блеска.

Остановившись, небрежно взмахнул рукой.

Возле Пастырева уха вдруг сгустился, завибрировал воздух, тугим шариком ворвался в слуховой проход, больно надавил на перепонку. Варнак невольно дёрнул головой, поморщился, охнул. А Михай подбросил в воздух хворостину и одним лихим взмахом рубанул её в полёте пополам. Ещё взмах и шею Пастыря обхватила, сдавила длинная ременная змея. Дробина, вплетенная в фол, больно ударила в затылок. Варнак невольно потянул воздух, вцепился в ремни, а цыган улыбнулся, бросил ему на колени рукоять — выпутывайся, дескать.

— Ничего, — согласно кивнул Пастырь, сняв с шеи эту удавку, полюбовавшись на работу плётчика. — Но это только со шпаной так махать. Да и то с двумя-тремя, безоружными. А в городе — бандиты. Не двое и не трое. С калашами.

— Это не моя печал, — ответил цыган. — Уйду в Закурдаево. Давно собираюс. Там наши жили. Может, найду кого.

— Ну-ну, — усмехнулся варнак, прихлёбывая налитый цыганом травник.

— А ружжо — бери. Тебе оно надо будет. Только патроны шест штук осталос. Больше нет.

— Спасибо, — кивнул Пастырь.

— Яс састо, — буркнул, отмахнувшись, цыган. — Не за что.

— Как-нибудь справимся, — продолжал варнак. — Главное — до пацанов добраться. Там у них сейчас Ведро за старшего... если жив. Нормальный парень. У них калашаи есть, так что не пропадём. А бандиты, думаю, свалят из города не сегодня-завтра. А не свалят, попробуем разминуться. Через завод можно будет уйти потихоньку. Уведём пионеров в деревню, подальше от города, там и перезимуем.

— Я не пойду с тобой, — повторил Михай, щурясь в варнаковы глаза. — Не думай.

Пастырь пожал плечами — ну не пойдёшь, так не пойдёшь.

Цыган достал трубку, неторопясь набил. Раскурил, пыхая, задумчиво глядя в огонь.

Дым, подгоняемый неспешным ветром, закружил над огнём костра, взметнулся вверх, поплыл в луга, туда, где одиноким холмиком приютилась свежая могила.

А закат разливался по небу лужей крови.

Конец

(первой части?)

Больше книг на сайте - Knigolub.net